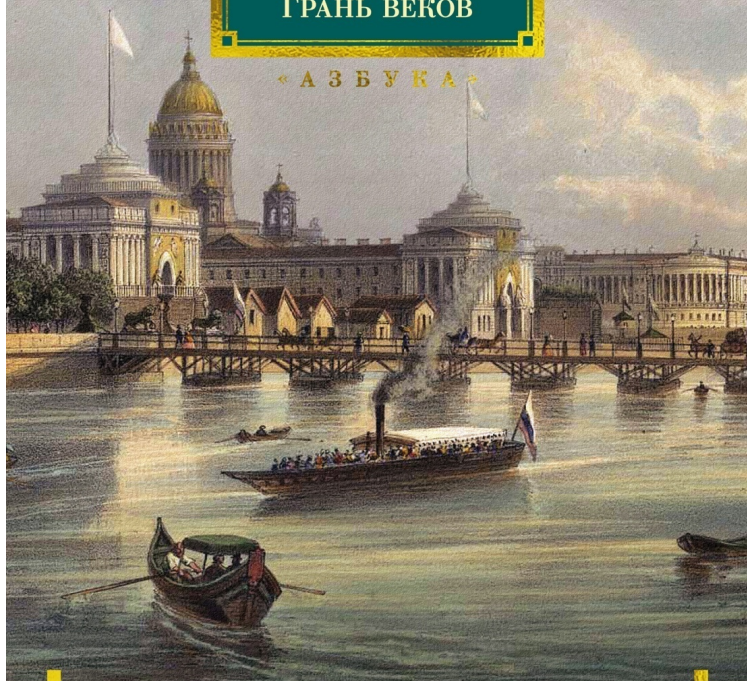


БОЛЬШИЕ NF КНИГИ

Натан  
Эйдельман

ТВОЙ XVIII ВЕК  
ТВОЙ XIX ВЕК  
ГРАНЬ ВЕКОВ

«АЗБУКА»



**Натан Яковлевич Эйдельман**  
**Твой XVIII век. Твой**  
**XIX век. Грань веков**  
Серия «Non-Fiction. Большие книги»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69853063](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69853063)*

*Твой XVIII век. Твой XIX век. Грань веков: Азбука, Азбука-Аттикус;  
Санкт-Петербург; 2023  
ISBN 978-5-389-24322-4*

### **Аннотация**

Натан Яковлевич Эйдельман – историк, литературовед, писатель, публицист, чей вклад в отечественную историографию XX века трудно переоценить. Он оставил богатейшее творческое наследие – более 20 книг и многочисленные статьи, эссе, рецензии в периодической печати. Основной областью научных интересов Н. Я. Эйдельмана была история русской культуры и общественного движения в XVIII-XIX веках.

В книгах «Твой восемнадцатый век» и «Твой девятнадцатый век» рассказывается об интереснейших событиях русской истории: дворцовых переворотах, Пугачевском бунте, освоении Камчатки и Курил, Отечественной войне 1812 года, восстании на Сенатской площади в Петербурге, отмене крепостного права и др.; герои этих книг – выдающиеся личности своего времени:

Петр I, А. П. Ганнибал, М. В. Ломоносов, Н. И. Панин, А. Н. Радищев, А. С. Пушкин, А. И. Герцен, декабристы...

Книга «Грань веков» посвящена внутривластической жизни России на рубеже XVIII-XIX веков. В центре внимания – судьба императора Павла I, чья личность до сих пор вызывает разноречивые оценки. Трагическая гибель императора, изменившая ход истории, окутана множеством легенд. Обстоятельства заговора подробно исследуются Н. Я. Эйдедьманом.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

# Содержание

Твой восемнадцатый век	6
Введение	6
Пушкинский пролог	10
Записки, касающиеся прадеда	14
Глава первая	21
Глава вторая	39
Глава третья	60
Глава четвертая	94
Глава пятая	130
Конец ознакомительного фрагмента.	141

# **Натан Эйдельман**

## **Твой XVIII век. Твой XIX век. Грань веков**

© Н. Я. Эйдельман (наследники), 2023

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

# Твой восемнадцатый век

## Введение

*Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?*

*Пушкин*

XVIII век был давно. Самые старые люди, которых я знал, родились в 1840–1860-х годах, то есть в середине XIX...

В позапрошлом веке карты мира были совсем не те, что сегодня: белые пятна занимали большую часть Африки, Америки, Азии; Австралия вообще появляется только к концу столетия, Антарктиды нет и в помине. Это была эпоха париков, карет, менуэтов, треуголок; эпоха разума, книг с очень длинными названиями, «Марсельезы» и гильотины; для России же это был век, когда – основан Петербург и выиграна Полтавская битва, восстал Пугачев и шел через Альпы Суворов...

В книге «Твой девятнадцатый век» я предлагал читателям превратиться для начала всего лишь в стопятидесятилетних; напоминал, что в прошлом столетии каждый из нас имел сотни ближайших родственников, прямых предков. Я старался доказать, что всем проживающим в конце XX ве-

ка очень нужен «старичок девятнадцатый» – и отвагой своей мысли, и поэтичностью мечтаний; нужен его смех, его горести, его ярость, его дух.

Теперь же наш путь более далекий – в 1700-е годы, и читателям предлагается:

1) Срочно сделаться двести – двестипятидесятилетними.  
2) Прикинуть, сколько поколений, сколько прапра... разделяет нас и тех прямых предков, которые в 1700-х годах, так же как и мы, радовались солнцу и лесу, любили детей, были потомков не глупее, мечтали о лучшем, скорбели о невозможном...

3) Поверить, что при всем при этом мы сегодня окружены такими здравствующими и действующими выходцами из позапрошлого столетия, как университет, академия, флот, журналы, газеты, театр; что многое, очень многое, начавшееся двести – двести пятьдесят лет назад, завершается или продолжается сегодня... Некоторые подробности, попавшие в эту книгу, автор отыскал в старинных фолиантах и в маленьких, похожих на тетрадки газетах XVIII столетия; немалое же число историй ожидало своего часа в архивах Москвы и Ленинграда... В огромных картонах, аккуратных папках там мирно дремлют тетради, листы, письма, записочки, некогда раскаленные от тех мыслей, страстей, идей, что витали, кипели вокруг них, оставляя на бумаге свой след: ученые прошения академика, секретные отчеты губернатора о поведении «известных персон», арестованные и запечатан-

ные документы «крестьянского Петра III», «ржавые» по краям листы сочинения «О повреждении нравов в России», сожженное, но не сгоревшее завещание царицы, копия славного литературного сочинения...

Они дремлют и живут, эти бумаги; в них огромная скрытая энергия позапрошлого столетия; но если подойти, прикоснуться, произнести нужные слова – они просыпаются, говорят, волнуются, кричат. И может быть, кое-что донесется к читателям этой книги... Огромен XVIII век – сто лет, 36 525 дней; однако для этой книги выбраны всего тринадцать дней – для тринадцати глав, да еще один день – для пролога и эпилога.

Итого, из целого столетия две недели!

Четырнадцать дней, в течение которых и вокруг которых живут, действуют, пишут, разговаривают, нам загадывают загадки следующие немаловажные лица (в порядке появления):

Петр Великий, Абрам Ганнибал, Бирон, Степан Крашенинников, Брауншвейгское семейство, Ломоносов, царица Елизавета Петровна, Пугачев, царь Петр III, Михаил Щерба-тов, Екатерина II, Александр Бибииков, братья Панины, Денис Фонвизин, наследник – позже царь Павел, Зубовы, наконец, Александр Сергеевич Пушкин: хотя и прожил он в XVIII столетии всего 19 месяцев, но так знал, так чувствовал время отцов и дедов, что может считаться их «почетным современником», незримым председателем. Им книга окон-



чится. С него и начнется.

# Пушкинский пролог

Московский весенний день 26 мая 1799 года.

Уж расцвели все городские сады, а в ту пору они занимали в пять раз большее пространство, чем несколько лет спустя – после великого пожара 1812 года... В газете объявления:

«Продается лучшей голландской породы бурая корова, на Пречистенке...»

«В Малой Кисловке, в доме госпожи Лопухиной, продаются разных сортов лучшие меды и кислые щи».

«В Подмосковной Его светлости князя Меншикова вотчине, селе Черемушках, отдается на сруб часть леса березового».

«В Немецкой слободе, в приходе Вознесения, в доме Николая Никитича Демидова до 5 июня будет торг. Желающие подрядиться построить полковой обоз могут явиться всякой день в 9 часов утра».

Хотя, признаемся, мы довольно равнодушны к постройке полкового обоза, но Немецкая слобода – район нынешней Бауманской, тогда Немецкой улицы, – она особенно занимает нас в этот весенний день...

Место историческое – именно сюда сотней лет раньше любил наведываться юный царь Петр. Теперь же москвичи и не подозревают о главном событии в жизни города и склонны чем только не увлечься, о чем только не посудачить!

«Сего, мая 26, в четверг представлена будет опера „Минутное заблуждение“».

«В казенном рыбном заводе под № 17 у купца Романа Васильева теша белужья, икра астраханская с духовыми специями и без специй в 30 копеек с развесом, а целым мешком по 25 копеек за фунт».

«Продается вдова 27 лет, учена прачке и кухарке».

«Сего мая 1 из Подмосковной старшего советника правительствующего Сената обер-секретаря и кавалера Иванова деревни Клинской округи сельца Дубинина бежали крепостные его дворовые люди, ткачи Лукьян Михеев и Игнат Демков с женами и четырьмя малыми детьми да холостые Ефтей Григорьев и Федот Сазонов» (следуют приметы).

В этот день, *26 мая 1799 года*, в Москве на Немецкой улице, «во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова, у жилища его маэора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр, крещен июня 8 дня; восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергея Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина».

Гениальный мальчик, родившийся 26 мая 1799 года, совсем не заметил, как окончился XVIII и начался XIX век.

Однако чуть позже он начал (мы точно знаем!) расспрашивать о дедах, прадедах – и ничего почти не сумел узнать. Батюшка Сергей Львович Пушкин, матушка Надежда Осиповна (урожденная Ганнибал) отвечали неохотно – и на то были причины, пока что непонятные кудрявому мальчугану:

дело в том, что родители, люди образованные, светские, с французской речью и политесом, побаивались и стеснялись могучих, горячих, «невежественных» предков. Там, в XVIII столетии, невероятные, буйные, «безумные» поступки совершали и южные Ганнибалы, и северные Пушкины (еще неведомо – кто горячее!). Там были неверные мужья, погубленные, заточённые жены, бешеные страсти, часто замешанные на «духе упрямства» политическом, когда Пушкины и Ганнибалы не уступали даже царям (но и цари в долгу не оставались!).

Александр Сергеевич желал бы расспросить стариков – но и это оказалось почти невозможным. Родной дед с материнской стороны Осип Абрамович Ганнибал жил в разводе с бабкою и умер, когда внуку исполнилось семь лет. Бабка, Марья Алексеевна, правда, жила с Пушкиными, часто выручала внука, когда на него ополчались отец с матерью. Она учила его прекрасному старинному русскому языку, но не желала рассказывать о давних родственных распрях.

Шли годы. Миновало пушкинское детство, позади Лицей, Кишинев, Одесса – и осенью 1824 года поэта ссылают в имение матери, село Михайловское... Здесь, близ Пскова и Петербурга, находилась когда-то целая маленькая «империя» – десятки деревень, полторы тысячи крепостных, принадлежавших знаменитому прадеду Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу, Арапу Петра Великого. После его кончины четыре сына, три дочери, множество внуков разделились, пе-

рессорились – часть земель продали, перепродали, – и даже память о странном повелителе этих мест постепенно уходила вместе с теми, кто сам видел и мог рассказать...

Однако неподалеку от Михайловского, в своих еще немалых владениях, живет в ту пору единственный из оставшихся на свете детей Абрама Ганнибала, его второй сын Петр Абрамович. Он родился в 1742 году, в начале царствования Елизаветы Петровны, пережил четырех императоров и, хотя ему 83-й год, переживет еще и пятого.

Любопытный внучатый племянник, разумеется, едет представляться двоюродному дедушке; едет в гости к XVIII столетию.

# Записки, касающиеся прадеда

Отставной артиллерии генерал-майор и на девятом десятке лет жил с удовольствием. Жена не мешала, ибо давно, уже лет тридцать, как ее прогнал и не помирился, несмотря на вмешательство верховной власти (раздел же имущества происходил под наблюдением самого Гаврилы Романовича Державина, поэта и кабинет-секретаря Екатерины II). Все это было давно; говаривали про Петра Абрамовича, что, подобно турецкому султану, он держит крепостной гарем, вследствие чего по деревням его бегало немало смуглых, курчавых «арапчат»; соседи и случайные путешественники со смехом и страхом рассказывали также, что крепостной слуга разыгрывал для барина на гуслиях русские песенные мотивы, отчего генерал-майор «погружался в слезы или приходил в азарт». Если же он выходил из себя, то «людей выносили на простынях», иначе говоря, пороли до потери сознания.

Заканчивая описание добродетелей и слабостей Петра Абрамовича, рассказчики редко забывали упомянуть о любимейшем из его развлечений (более сильном, чем гусли!), то есть о «возведении настоек в известный градус крепости». Именно за этим занятием, кажется, и застал предка его молодой родственник, которого генерал, может быть, сразу и не узнал, но, приглядевшись, отыскал во внешности кое-какую «ганнибаловщину».

Одетый по моде современный молодой человек сначала вызвал у старика подозрение, но затем, однако, «старый арап» расположился, подобрел, может быть, даже «в азарт вошел». И тут, мы точно знаем, пошли разговоры, имевшие немалые последствия для российской литературы... Разговоры, за которыми и ехал Александр Сергеевич. Петр Абрамович принялся рассказывать о «незабвенном родителе» Абраме Петровиче; вероятно, признался, что сам в русской грамоте не очень горазд — поэтому лишь начал свои воспоминания (сохранилось несколько страничек корявого почерка, начинавшихся: «Отец мой... был негр, отец его был знатного происхождения...»). Зато на стол перед внуком ложится тетрадка, испещренная старинным немецким готическим шрифтом:

«Awraam Petrovitsch Hannibal war wirklich dienstleistender General Anshef in Russisch Kaiserlichen Diensten...»

«Авраам Петрович Ганнибал был действительным заслуженным генерал-аншефом русской императорской службы, кавалером орденов святого Александра Невского и Святой Анны. Он был родом африканский арап, из Абиссинии, сын одного из могущественных богатых и влиятельных князей, горделиво возводившего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима...»

Пушкин держит в руках подробную биографию прадеда, написанную лет за сорок до того, вскоре после кончины «великого Арапа».

Прежде, как видно, заветная тетрадь была у старшего сына, Ивана Абрамовича Ганнибала, знаменитого генерала, одного из главных героев известного Наваринского морского сражения с турками 1770 года. Пушкин гордился, что в Царском Селе на специальной колонне в честь российских побед выбито имя Ивана Ганнибала, писал о нем в знаменитых стихах, но единственная встреча будущего поэта с этим двоюродным дедом, увы, происходила... в 1800 году: годовалого мальчика привезли познакомиться со стариком, которому оставалось лишь несколько месяцев жизни.

С 1801 года – старший в роду уже Петр Абрамович, и к нему, естественно, переходит «немецкая биография» отца. Пока что он не желает отдавать ее Пушкину, но разрешает прочесть, сделать выписки...

*1824 год:* XVIII столетие осталось далеко позади; а в тетрадях Пушкина – один за другим – отрывки, черновики, копии документов, заметки о черном прадеде.

В первой главе «Евгения Онегина», еще за несколько месяцев до приезда в Михайловское (когда был план побега из Одессы):

Придет ли час моей свободы?  
Пора, пора! – взываю к ней;  
Брожу над морем, жду погоды,  
Маню ветрила кораблей.  
Под ризой бурь, с волнами споря,  
По вольному распутию моря



Когда ж начну я вольный бег?  
Пора покинуть скучный брег  
Мне неприяженной стихии  
И средь полуденных зыбей,  
Под небом Африки моей,  
Вздыхать о сумрачной России,  
Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил.

В Михайловском —

*20 сентября 1824 г. Стихи к Языкову:*

В деревне, где Петра питомец,  
Царей, цариц любимый раб  
И их забытый однодомец,  
Скрывался прадед мой арап,  
Где, позабыв Елизаветы  
И двор, и пышные обеты,  
Под сенью липовых аллей  
Он думал в охлажденные леты  
О дальней Африке своей, —  
Я жду тебя...

*Октябрь 1824 г.* Обширное авторское примечание к пятидесятой строфе первой главы «Евгения Онегина» об Абраме Петровиче Ганнибале. Последние строки примечания — «мы со временем надеемся издать полную его биографию», — конечно, подразумевают немецкую рукопись.

*Конец октября 1824 г. Стихотворный набросок:*

Как жениться задумал царский арап,  
Меж боярынь арап похаживает,  
На боярышен арап поглядывает.  
Что выбрал арап себе сударушку,  
Черный ворон белую лебедушку.  
А как он, арап, чернешенек,  
А она-то, душа, белешенька.

История «черного ворона» и «белой лебедушки» тоже взята из «немецкой биографии», хотя какие-то подробности, вероятно, заимствованы из рассказов няни Пушкина «про старых бар» (Арине Родионовне ведь было уже двадцать три года, когда скончался А. П. Ганнибал).

*19 ноября 1824 г.* На отдельном листе Пушкин записывает воспоминания о первом посещении псковской деревни и первой встрече с П. А. Ганнибалом.

*Январь-февраль 1825 г.* Увлечение Ганнибаловой темой продолжается. Отправив большое примечание к первой главе «Евгения Онегина», Пушкин еще пишет брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы».

*11 августа 1825 г.* Пушкин сообщает П. А. Осиповой, что едет к умирающему двоюродному дедушке, у которого «необходимо раздобыть записки, касающиеся моего праде-

да».

Раньше думали, что Пушкин отправлялся из Михайловского в соседнее Петровское, принадлежавшее дедушке; однако сотрудница Пушкинского заповедника на Псковщине Г. Ф. Симакина установила, что резиденция старого Ганнибала была в другой его деревне – Сафонтьеве, верстах в шестидесяти от Михайловского. Мелочь, казалось бы, но зато для Пушкина совсем не мелочь, идти ли к Петру Абрамовичу за несколько верст или трястись полдня по ухабистым псковским дорогам.

Но «Записки» стоили того... Престарелый артиллерист, любитель гуслей и настойки, прощается с великим внуком: знакомя именно Пушкина с «немецкой биографией» родителя, он будто завещает ему «корону», старшинство славного рода.

Старик проживет еще год после того подарка и скончается в 1826-м, на восемьдесят пятом году жизни. Пушкин же через год начнет повесть «Арап Петра Великого», а затем пригласит прадеда и нескольких пылких, буйных предков в свои стихи, исторические труды, воспоминания.

Вот каким образом из рассказов и преданий, из книг и немецкой биографии является к Пушкину и к нам его высокопревосходительство Абрам Петрович Ганнибал, в конце жизни генерал-аншеф (по-сегодняшнему – генерал армии: чин высочайший!), «орденов Святой Анны и Святого Алек-

сандра Невского кавалер».

# Глава первая

## 27 января 1723 года

Незадолго до своей гибели Пушкин записал следующие строки о своем прадеде:

«Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что, во всяком случае, он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году».

Сцена встречи и благословения царем своего любимца нам известна, конечно, не столько по историко-биографической записи Пушкина, сколько по другому ее описанию, выполненному все тем же славным правнуком.

«Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газе-

ты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. „Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!“ Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. „Я был предуведомлен о твоём приезде, – сказал Петр, – и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня“. Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. „Вели же, – продолжал государь, – твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедem ко мне“. Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург».

Эта встреча Петра и Ганнибалa из повести «Арап Петра Великого» попала потом в другие рассказы, романы, была запечатлена в живописи. Историки, правда, уточнили, что дело было не в 1722 году, а 27 января 1723 года: именно в этот день царь после семилетнего почти перерыва встретился со своим учеником, денщиком, секретарем, наперсником...

Все, казалось бы, ясно.

Но два очень серьезных знатока той поры совершенно независимо друг от друга пришли вот к какому выводу насчет той встречи.

Эстонский ученый Георг Леец: «В действительности ничего этого не было. И не могло быть по той причине, что Петр I находился с 18 декабря 1722 года по 23 февраля 1723 года в Москве. В Москву и прибыл из Франции 27 января

1723 года князь В. Л. Долгорукий вместе с Абрамом».

Исследовательница Н. К. Телетова уточняет: «Было это 27 января 1723 года, когда посольство Василия Лукича Долгорукова, в свите которого возвращался Абрам Петрович, прибыло в первопрестольную из Франции. В „Походном журнале“ за 27 января 1723 года записано: „Сегодня явился его величеству поутру тайный советник князь Василий Долгорукий, который был министром в Париже и оттуда приехал по указу... Сегодня была превеликая метель и мокрая“. Так, метелью превеликой, встречала Абрама его вторая родина. Ни о каких выездах навстречу царя и царицы речь на деле не шла».

Если даже навстречу важному вельможе, послу во Франции, Петр не счел нужным выехать, то что уж толковать про скромного «арапа»; к тому же царь в эти дни был не в духе: открылись страшные злоупотребления некоторых доверенных лиц, в Москве готовились к новым казням, а не к дружеским объятиям...

Итак, не было, не могло быть.

«Как жаль!» – готовы мы воскликнуть вместе с читателем или вспомнить пушкинское:

...Мечты поэта —

Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас, —

И где ж очарованье света!

Что же такое история, что же такое исторический факт, если на расстоянии в сто лет сам Пушкин уж не может различить правду и легенду?

Но странно... Ведь поэт-историк сообщает удивительно точные подробности: 27-я (или 28-я) верста; образ Петра и Павла, который, правда, «не мог сыскать», но искал, точно зная о его существовании; кстати, в начале XX века дальняя родственница Пушкина из рода Ганнибалов подтверждала, что образ действительно был и благословение было.

Поэтому не станем торопиться с выводом: «Пушкин прав – Пушкин ошибся», скажем осторожнее: «Пушкину так представлялось дело»; Петр I, как видно, действительно любил своего Арапа, выдвигал его, поощрял... Сыновья, внуки, правнуки А. П. Ганнибала, разумеется, гордились, что их предок был столь близок к великому царю; они были, конечно, склонны и преувеличивать эту близость, иногда, впрочем, делая это невольно...

Попробуем же разобраться во всем по порядку.

## **ПЕТР И ПЕТРОВ**

В то самое время, когда двадцатичетырехлетний царь Петр и его «потешные» осаждали и брали турецкую крепость Азов, при впадении Дона в Азовское море, на берегу совсем другого моря, Красного, там, где сегодня Эфиопия граничит с Суданом, родился Ибрагим...



Многоточие означает, что ни полного родового имени, ни имени его отца мы не знаем.

*1696 год.* Мы сегодня очень любим, пожалуй, гордимся быстрыми, фантастическими, совершенно необыкновенными человеческими перемещениями и превращениями (с полюса на полюс, из дебрей Африки – в Нью-Йорк, из королей – в спортсмены...).

Нет спору, наш век – фокусник, но и прежние умели вдруг слепить такую биографию, которая не скоро приснится и в XXI столетии. Оттого же, что нам кажется, будто старина была медленней и «нормальней», ее чудеса, наверное, представляются еще удивительнее.

В самом деле, северо-восточная Африка, одно из наиболее жарких мест на земле; местный князек, у которого девятнадцать сыновей (Ибрагим младший): «...их водили к отцу, с руками связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома» (из пушкинского примечания к первому изданию «Евгения Онегина»). Отец Ибрагима, спасавший своих старших сыновей от *естественного* искушения – захватить власть и сесть на отцовское место, – этот вождь, шейх или как-то иначе называвшийся правитель, почти наверняка и не слышал о существовании России; но если бы кто-то ему объяснил, что он, владелец земли, фонтанов, многочисленных жен и детей, – что он уже *наперед* знаменит как прапрадед величайшего русского поэта (а одна из его жен – конечно, не главная, ибо

мать всего лишь девятнадцатого сына, — это любезная нам прапрабабка); если бы кто-нибудь мог показать сквозь «магический кристалл», что в далекой, холодной, неизвестной «стране гяуров» проживают в конце XVII столетия полтора десятка потенциальных родственников, тоже прапрадедов и прапрабабок будущего гения; если бы могли темнокожие люди в мальчике, плескающемся в теплых фонтанах, угадать российского воина, французского капитана, строителя крепостей в Сибири, важного генерала, заканчивающего дни в деревне, среди северных болот под белыми ночами... Если бы все это разглядели оттуда, с Красного моря, то... вряд ли удивились бы сильно. Скорее — вздохнули б, что пути Аллаха неисповедимы; и пожалуй, эта вера в судьбу и предназначение позволила бы раскрыть случившееся как нечто совершенно естественное...

Случилось же вот что.

Семилетнего Ибрагима сажают на корабль, везут по морю, по суше, опять по морю и доставляют в Стамбул, ко дворцу турецкого султана; Пушкин, беседуя с двоюродным дедушкой и разбирая «немецкую биографию» прадедушки, никак не мог понять: зачем мальчика увезли? Петр Абрамович за рюмками ганнибаловской настойки объяснил Пушкину, что мальчика похитили, и даже припомнил рассказ своего отца, как любимая его сестра в отчаянии плыла издали за кораблем... Немецкая же биография (составленная со слов Ибрагима-Абрама) толковала события иначе: к верховному пове-

лителю всех мусульман, турецкому султану, привезли в ту пору детей из самых знатных фамилий в качестве заложников, которых убивали или продавали, если родители «плохо себя вели». Впрочем, ни дедушка, ни «фамилия Пушкина» ни словом не коснулись одного обстоятельства, которое открылось полностью уже в наши дни, в XX веке: дело в том, что похитители увезли двух братьев, из которых Ибрагим был меньшим... Но о старшем брате ни Пушкин, ни Петр Абрамович не знали ничего. Тут любопытная загадка, но к ней еще вернемся...

Так или иначе, в 1703 году Ибрагим с братом оказались в столице Турции, а год спустя их вывозит оттуда помощник русского посла. Делает он это по приказу своих начальников – управителя посольского приказа Федора Алексеевича Головина и русского посла в Стамбуле Петра Андреевича Толстого. Тут мы не удержимся, чтобы не заметить: Петр Толстой – прапрапрадед великого Льва Толстого, прямой предок и двух других знаменитых писателей, двух Алексеев Толстых, – руководит похищением пушкинского прадеда!

И разумеется, все это дело – по приказу царя Петра и для самого царя.

Двух братьев и еще одного «арапчика» со всеми мерами предосторожности везут по суше, через Балканы, Молдавию, Украину. Более легкий, обычный путь по Черному и Азовскому морям сочли опасным, так как на воде турки легче бы

настигли похитителей...

Зачем же плелась эта стамбульская интрига? Почему царю Петру срочно потребовались темнокожие мальчишки?

Вообще, иметь придворного «арапа», негритенка, при многих европейских дворах считалось модным, экзотическим... Но Петр не только эффекта ради послал секретную инструкцию – добыть негрятят «лучше и искуснее»: он хотел доказать, что и темнокожие «арапчата» к наукам и делам не менее способны, чем многие упрямые российские недоросли. Иначе говоря, тут была цель воспитательная: ведь негров принято было в ту пору считать дикими, и чванство белого колонизатора не знало границ. Царь Петр же, как видим, ломает обычаи и предрассудки: ценит головы по способностям, руки – по умению, а не по цвету кожи...

И вот мальчиков везут в Россию. По дороге они, наверное, впервые в жизни видят снег; точно известно, что в Москву прибыли 13 ноября 1704 года, куда вскоре возвращается из похода царь Петр.

Война со шведами идет уже четыре года, но конца ей не видно: сначала Карл XII побил русские полки при Нарве, теперь же военное счастье все больше улыбается Петру. Только что штурмом взяты Дерпт и Нарва, год назад заложен Петербург. Царь доволен, у него большие планы, для исполнения которых нужно много энергичных, толковых помощников.

Можем вообразить первую встречу Петра с темнокожими братьями, царский экзамен – на что способны; затем креще-

ние...

ПУШКИН: «Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польской королевой, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж».

Вот уже, как видим, Арап Петра Великого делается более похожим «на самого себя», хотя историки поправляют поэта чуть ли не на каждом слове.

Крещение было действительно в Вильне, но не в 1707-м, а на два года раньше; польской королевы при этом не было; гордое, древнее имя Ганнибал – так стал называться Ибрагим (Абрам) только после смерти царя Петра, а до того везде – Абрам Петров или Абрам Петрович Петров. Пушкин того не знал, да и дедушка Петр Абрамович плохо различал подробности. Конечно, «немецкая биография» утверждала, что Арап Петра Великого действительно происходил от великого карфагенского полководца (имевшего если не негритянскую – арапскую, то во всяком случае потемневшую «арабскую» кожу), но Пушкин, понятно, не стал настаивать, будто находится в прямом родстве с победителем при Кан-

нах.

Его устраивало, что юный прадед геройски бился в Северной войне.

Двадцать один год длилась война со шведами. Полтавская битва 1709 года, морское сражение при мысе Гангут в 1714-м – это знаменитые вершины, главные победы; однако до них, между ними, после них были годы бесконечных утомительных маршей и осад, голода и слякоти, десятилетия разочарований и надежд. И Абрам Петров, почти не расставаясь со своим повелителем, проходит длинными дорогами длиннейшей войны... И конечно, не минует Полтавы и Гангута.

Славным полководцем, напоминавшим древнего Ганнибала, там выступал сам Петр. Арап же, как мы сейчас догадываемся, поначалу обходился без имени карфагенского героя. Дело в том, что Петр невысоко ценил знатность рода – чего стоил, например, «пирожник» Меншиков, впрочем успевший еще при Петре стать герцогом Ижорским, князем Российской империи и Римского государства, но так и не выучившийся грамоте... Наш-то герой, Ибрагим-Абрам, был в самом деле образован; действительно знал разные языки, геометрию, фортификацию. Однако у него – «слишком простонародное» имя (формально он ведь Петров Петр Петрович!).

После же смерти царя-благодетеля титулы, звания возрастают в цене, становятся способом выжить, пробиться... И тут-то Абрам Петров впервые называется Ганнибалом,

да еще заказывает особый герб – слон под короной; намек на африканский царский род. Те, кто сегодня улыбнутся над тщеславием или «фанфаронством» нашего Африканца, будут судить *неисторически*: ведь нельзя же мерить людей былых веков мерками наших представлений! Эдак можно упрекнуть Петра, что он, скажем, не освободил крепостных крестьян или что люди XVI–XVII веков проливали кровь из-за «чепухи» – разницы в религиозных обрядах...

Если же судить XVIII век по законам XVIII века, то мы сразу увидим, что Абрам Петрович был похож на многих лучших людей того времени, которые с большой энергией воевали, строили, управляли, учились, учили, но притом постоянно интриговали, мучили крестьян, собственных жен, детей и – себя самих... Прикрывшись звучной фамилией Ганнибал, Абрам Петрович, как видно, не любил толковать о старшем брате: знаем, что тот звался после крещения Алексеем Петровичем, что, вероятно, не очень понравилось царю, и карьеры не сделал: через двенадцать лет после прибытия в Россию он, согласно документам (найденным В. П. Козловым), числился гобоистом Преображенского полка и был женат на крепостной ссыльных князей Голицыных.

*Женат на крепостной* – значит, и сам не знатный, простого рода... Насчет же *старшего брата*, который «приезжал в Петербург, предлагал выкуп», кроме как в «немецкой биографии», сведений нет; и вообще странная это история, чтобы один из сыновей, некогда являвшихся на глаза к от-

цу «со связанными руками», вдруг так воспылал братскими чувствами, что отыскал младшего «за шестью морями»... Подозреваем, что в семейных рассказах «неблагополучный» гобоист Алексей Петров вдруг переменял свою роль, превратился в легенду; на самом же деле – умер в России или, может быть, попытался найти дорогу на родину...

## 1717–1723. ПАРИЖ

ПУШКИН: «Потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в *одном подземном сражении* (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему...»

Наш рассказ начался с января 1723 года, вернулся в конец XVII столетия, на берег Красного моря, – и вот, будто совершив кругосветное путешествие, снова приближается к своему началу.

Абрам Петров в Париже. Правда, он туда не «послан» (как думал Пушкин), но *оставлен* Петром для учения: в 1717-м царь со свитой, где был и Арап, посетил эту страну, познакомился с ее науками, искусствами, знаменитыми полководцами, ну и, разумеется, с самим королем («объявляю Вам, –



писал Петр царице, – что в прошлый понедельник визитировал меня здешний король, который пальца на два более Луки (карлика) нашего, дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет».

Король Людовик XV вступил на трон пятилетним и правил уже второй год.

Мы не знаем, был ли допущен Абрам Петров на встречу монархов, но точно известно, что царь сам лично рекомендовал его герцогу Дю Мену, родственнику короля и начальнику всей французской артиллерии.

Как несмышленных котят толкают носом в молоко, так царь Петр торопится лаской, уговором, пинком просветить своих подданных. Для того сам учится, Ганнибала и других обучает за границей; для того назначает бесплатное угощение посетителям кунсткамеры – награда за любопытство; для того издает книги тиражами в 10–20 тысяч экземпляров, хотя удавалось продать всего двести—триста, а остальные гнили на складе (ничего – пусть хоть видят книгу, пусть хоть малую часть, да все-таки купят!). Тогда же царь Петр соблазняет большими льготами и деньгами лучших ученых Европы, чтобы помогли основать русскую академию и университет.

Уже выходит первая русская газета, строятся корабли, пушки, каналы, промышленность вырастает в семь раз – но все мало, мало: торопится царь, ласкою, дубинкою, кнутом

погоняет подданных...

Но вот заканчивается 1722 год. Наступает час Абраму Петровичу возвратиться в Россию; он просит только об одном: ехать домой не морем, а по суше; он просит доложить Петру I (который за это время уж принял титул императора), умоляет кабинет-секретаря «доложить императорскому величеству, что я не морской человек; вы сами, мой государь, изволите ведать, как я был на море храбр, а ноне пуще отвык. Моя смерть будет, ежели не покажут надо мною милосердие божеское... Ежели императорское величество ничего не пожалует, чем бы нам доехать в Питербурх сухим путем, то рад и готов пешком итти».

И еще раз: «Я бы с тем поехал, ежели не достанет, то бы милостину стал бы просить дорогой, а морем не поеду, воля его величества».

Крестник Петра, действительно отличившийся за восемь лет до того в Гангутской морской битве, – и вдруг такая моребоязнь? Возможно, попал однажды в бурю или вдруг подступили детские воспоминания: море, корабль и плывущая за ним сестра? Незадолго до наступления нового, 1723 года русский посол в Париже Василий Лукич Долгорукий отправляется в путь – посуху, через Германию, Польшу. В посольской свите – «отставной капитан французской армии Абрам Петров».

27 января – мокрый снег, Москва...

## ВСТРЕЧАЛ – НЕ ВСТРЕЧАЛ

Итак, Петр не встречал. Незадолго перед тем, вернувшись в Москву из персидского похода, обнаружил дома множество неустройств... Император устал – жить ему оставалось ровно два года – и, будто чувствуя, как мало удастся совершить, особенно гневен на тех, кто мешает. Петр немало знал, например, про колоссальные хищения *второго человека* Меншикова и еще многих, многих. И вот в назидание сподвижникам, как раз в те дни, когда посольство Долгорукого подъезжало к старой столице, была учинена публичная расправа над одним из славнейших «птенцов гнезда Петрова».

Барон Петр Шафиров, опытейший дипломат, в течение многих лет ведавший внешнеполитическими делами (позже сказали бы – министр иностранных дел), – барон только что обвинен в больших злоупотреблениях, интригах. Комиссия из десяти сенаторов лишает его чинов, титула, имения и приговаривает к смерти.

Голова уж положена на плаху, палач поднял топор – но не опустил: царь прощает ссылкой, «под крепким караулом».

Москва присмирела и ожидает новых казней. Василий Лукич Долгорукий и приехавший с ним в одно время (из Берлина) другой русский дипломат, Головкин, ожидают, когда царь их примет и выслушает.

Царь принял, много толковал с возвратившимися, конеч-

но, перемолвился с Абрамом Петровым и – оттаял: выходило, что есть еще верные слуги; доклады из Парижа и Берлина оказались лучше, чем ожидал требовательный, придирчивый, нервный император. И раз так – этот случай тоже надо сделать назидательным, нравоучительным...

Через месяц без малого, 24 февраля 1723 года, Петр выезжает из Москвы в Петербург. Если нужно ему было, неся лихо и мог покрыть расстояние меж двух столиц за рекордный срок – двое суток! Но на этот раз царь не торопился: устал; к тому же по дороге кое-что осмотрел, и достиг Невы на восьмой день пути, 3 марта 1723 года.

А вслед за Петром из Москвы двинулись в путь дипломаты: Долгорукий со свитой, Головкин с людьми; двадцатисемилетний Абрам Петров меж ними – персона не главная, но и не последняя...

Ехали не торопясь, но и не медля – чтобы прибыть точно в *назначенный* день.

А в назначенный день – свидетельствуют документы – Петр выехал к ним навстречу «за несколько верст от города, в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии; им был оказан особый почет».

Таким образом был разыгран спектакль – для жителей, для гвардии, для придворных, для высших сановников... Петр как будто не видел послов в Москве – и теперь торжественно, «впервые» принимает недалеко от своей новой столицы: умеет казнить – умеет награждать.

Кто ослушается, положит голову, как Шафиров. Кто угодит, будет принят, как Долгорукий и Головкин... Плаха и «особый почет» как бы уравнивали друг друга.

Итак, царский прием, и, конечно, часть почета относилась к Абраму Петрову. Царь, выходящий навстречу, обнимает, благословляет всех – и своего крестника – образом Петра и Павла... Вскоре после того Арапа жалуют чином, но не капитан-лейтенантом, а инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка: Пушкин вслед за «немецкой биографией» завысил чин.

Итак, что же выходит?

ПУШКИН: «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!»

Позднейшие историки: «Ничего этого не было... Ни о каких выездах навстречу... речь на деле не шла».

Но все-таки – *было, было...*

Просто «невстреча» в Москве 27 января и встреча у Петербурга в марте позже слились в памяти в одно целое: может быть, уже в сознании самого Абрама Петровича, а уж у детей его, у автора «немецкой биографии» – и подавно...

Но не слишком ли много внимания частному эпизоду (не встречал – встречал)? Подумаешь, какая важность!

Что же в конце концов следует из всего этого?

Во-первых, что к преданиям, легендам нужно относиться бережно: не верить буквально, но и не отвергать с насмешкою. Разумеется, в наши «письменные века» предания не ту

роль играют, что у диких племен, где они заменяют историю, литературу (у полинезийцев были специальные мудрецы, помнившие и передававшие другим «фамильные», родовые предания за сотни и даже за тысячу лет). В нашу эпоху, повторяем, дело иное, но не совсем иное. Я сам видел почтенного специалиста-историка, который, показывая на старинный портрет, объяснял: «Это мой прапрадед, но, по правде говоря, это не он» (ордена опять не те!).

Итак, во-первых, ценность легенды, семейного рассказа. Во-вторых, как трудно «добыть дату», сверить факты...

Наконец признаемся: приятно убедиться, что Пушкин не ошибся.

Впрочем, если б даже ошибся и не было встречи Ганнибала Петром, Пушкин все равно прав, ибо все доказал *художественно*. Но притом сам Александр Сергеевич ведь считал, что Петр *на самом деле* выезжал навстречу своему Арапу (и, если бы иначе думал, не стал бы о том писать!); и нам, повторим, приятно, что художественно-историческое совпало с историко-документальным – что, если за Пушкиным пойдешь, многое найдешь...

Рассказ о встрече оканчивается, разговор не окончен: Абрам Петрович Ганнибал еще не раз появится на страницах этой книги, сейчас только на время уступит место другому герою (которого, кстати, в свое время заметил и собирался «пригласить» в свои книги поэт-правнук), другому птенцу, точнее говоря, птенцу «птенцов гнезда Петрова»...

## **Глава вторая**

### **4 октября 1737 года**

«От Якутска до Бельской переправы наша дорога была довольно сносной, но дальше до Охотска столь беспокойна, что дороги труднее ее и представить себе нельзя, ибо она следует или по берегам рек, или по лесистым горам. Берега настолько усеяны обломками камней или круглыми гальками, что приходится удивляться здешним лошадям, как они ходят по этим камням. Впрочем, ни одна из них не приходит к концу путешествия с целыми копытами. Горы чем выше, тем грязнее. На самых вершинах расположены ужасные болота и зыбуны. Если выючная лошадь в них проваливается, то освободить ее нет никакой надежды. С превеликим страхом приходится наблюдать, как впереди, сажень за десять, земля волнообразно колеблется.

Лучшее время поездок по этому пути падает на период времени с весны до июля месяца, а если тронуться в путь в августе, то следует опасаться, чтобы не захватили снега, очень рано выпадающие в горах.

В Охотске мы прожили до 4 октября 1737 года, пока прибывшее 23 августа с Камчатки судно „Фортуна“ не было разгружено и отремонтировано.

Когда ремонт „Фортуны“ был закончен, охотский командир 30 сентября отдал приказ грузиться на судно, а 4 октяб-

ря мы уже покинули Охотск.

Из устья р. Охоты мы благополучно вышли во втором часу пополудни и к вечеру потеряли из виду берега. В одиннадцатом часу на судне появилась такая течь, что люди в трюме ходили в воде по колено. Хотя воду отливали двумя помпами, котлами и чем кому под руку попало, однако она не убывала...»

Так встречает Тихий океан, Охотское море двадцатишестилетнего «академии студента» Степана Петровича Крашенинникова.

Суденышко «Фортуна», то есть «Судьба», уж видало виды: за несколько лет до того участвовало в первой Камчатской экспедиции Беринга – и явно устало.

«Судно наше настолько погрузилось в воду, что она начала заливаться в шпигаты. Не было другого спасения, кроме облегчения судна от излишков груза.

К этому вынуждал и стоявший на море полный штиль, не позволявший вернуться в Охотск. Поэтому все лежавшее наверху было сброшено в море, но так как и после этого улучшения не наступило, то без всякого разбора выбросили около 400 пудов разных грузов, находившихся в трюме».

Для того чтобы тонуть в холодном море, за десять тысяч верст от Петербурга, солдатскому сыну Степану Крашенинникову пришлось немало поучиться. Ну что же – в ту пору учились многие. Учились воевать, делать пушки и корабли, открывать школы и училища, строить крепости и дворцы,



выпускать книги, календари, газеты, географические карты. Учились солдаты и генералы, люди без роду и племени и сам царь Петр. Учились у друзей и врагов, у голландцев, немцев, французов, англичан, итальянцев, у короля Карла XII. Царь Петр, бывало, шутил, что российский желудок крепок – все переварит: никакого стыда и страха не должно испытывать, заимствуя и перерабатывая чужое; куда более стыдно коснеть в невежестве и спячке.

По царскому приказу отыскивают толковых молодых дворян, к ним прибавляют смысленных мальчиков «низших сословий» – лишь бы могли, лишь бы желали учиться! Так тринадцатилетний солдатский сын Степан Крашенинников был принят в одно из лучших московских учебных заведений – Славяно-греко-латинскую академию (туда же с огромным трудом чуть позже пробьется Михайло Ломоносов!).

Пройдет, конечно, время, пока русские ребята выучат языки, да еще и «несколько наук» в придачу, чтобы понимать лекции приглашенных европейских профессоров; 28 января 1725 года Петр умирает, но просвещение живет и здравствует, притягивает лучших, способнейших... В тех аудиториях, где немцы читали немцам, через несколько лет уже половина слушателей русские: выучились, могут понять, участвовать в науке на равных. Правда, денег им почти не платят (такая великая вещь, как *стипендия*, была «изобретена» для российских студентов только в 1747 году!); пока что разве один из десяти выдерживает главный академический

экзамен — голод.

Степан Петрович Крашенинников выдержал; на двадцать первом году жизни его и нескольких особо смысленных москвичей привозят в Петербург, в академию, а затем отправляют на Дальний Восток, в помощь Витусу Берингу и другим участникам широко задуманной Камчатской экспедиции. Когда же академики увидели, что студент разбирается в геологии и географии, в истории и языках, в травах и тварях, к тому же хорошо рисует (в ту пору это было столь же важно, как сегодня — умение фотографировать), к тому же — не боится лишений (привычка с детских лет)... Тогда академики посылают студента вперед, в самую дальнюю из земель, которую было приказано изучить и описать, — *на Камчатку...*

Лишь за сорок лет до того первый русский казачий отряд достиг этого огромного полуострова, где жители еще находились на стадии каменного века; однако и в 1730-х годах на большинство европейских карт страна могучих лесов, огромных вулканов, гейзеров и морских бурь еще едва нанесена или изображена неточно.

Еще лет за десять—двадцать до того, как Крашенинников смело вступает на коварную палубу «Фортуны», на том полуострове, куда он едет, была сложена поговорка «На Камчатке проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь; а семь лет проживет, кому Бог велит». Действительно, прожить несколько лет было мудрено: бури, снежные обвалы, стычки

казаков между собою, восстания местных племен – ительменов и коряков, которым не хочется платить большой ясак... Когда совершалось какое-либо преступление (а самое большое – с официальной точки зрения – грабеж «казны», той пушнины, что предназначена царю, верховной власти), – когда что-нибудь подобное совершалось, проходило не меньше года, пока весть не достигала ближайшего воеводы, в Якутске; если же провинившимся удавалось подстеречь, убить тех, кто едет докладывать «в центр», значит выигран еще год... А там, в Якутске, начнут беспокоиться, пошлют гонца в Петербург – еще год... В общем, долгое время любой бунт или грабеж в стране вулканов имел шанс года три, а то и пять оставаться без возмездия. Пока приходила грозная царева кара, бунтовщики, глядишь, успевали «заслужить» свои вины или – что бывало чаще – складывали буйные головы: «проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь...»

Последнее большое восстание, 1731 года, окончилось тем, что прибывшие за много тысяч верст солдаты и чиновники казнили нескольких местных вождей, сопротивлявшихся воле Петербурга, а также и нескольких казаков, особенно отличившихся в бесстыдном лихоимстве...

Вот в такую *землицу* ехал «академии студент», чтобы *завоевать ее наукой* – ботаникой, зоологией, географией, геологией, историей, языковедением, фольклористикой; многовато вроде бы для одного лица, но, раз едет один, придется работать за десятерых. К тому же – удастся ли доехать?

«Судно наше погрузилось в воду, все лежавшее наверху было сброшено в воду. Несчастливы были те, кладь которых лежала сверху. Наконец вода начала убывать и целиком исчезла. Однако помпы все равно нельзя было выпускать из рук, ибо за полчаса, если не откачивать, прибывало на два дюйма. Все плившие на судне (исключая больных) сменяли друг друга после ста откачек воды».

Вот как весело проводил время Степан Крашенинников 4 октября 1737 года...

Оставляя на время нового нашего героя в большой беде и в страшной дали, вернемся к герою прежнему.

Что Ганнибал? Каково ему осенним днем 1737 года?

## **ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ**

Без малого столько времени прошло с тех пор, как Петр выехал навстречу, благословил...

Пятнадцать лет: был двадцатилетний инженер-поручик, теперь сорокаоднолетний отставной майор; но дело, конечно, не в чинах. За прошедшие пятнадцать лет умер Петр Великий, два года процарствовала его жена Екатерина I, еще три года – юный внук, Петр II, с 1730-го правит двухметрового роста, восьми пудов весу суровая племянница Петра Анна Иоанновна, которая вместе со своим фаворитом Бироном нагнала страху казнями, пытками, ссылками и зверскими увеселениями, вроде знаменитого «ледяно-

го дома» (он даст название известному роману Ивана Лажечникова). Один из историков вот как описывал 1730-е годы: «Страшное „слово и дело“ раздавалось повсюду, увлекая в застенки сотни жертв мрачной подозрительности Бирона или личной вражды его шпионов, рассеянных по городам и селам, таившихся чуть ли не в каждом семействе. Казни были так обыкновенны, что уже не возбуждали ничьего внимания, и часто заплечные мастера клали кого-нибудь на колесо или отрубали чью-нибудь голову в присутствии двух-трех нищих старушенок да нескольких зевак-мальчишек». Лихие вихри качали великую страну, забирали тысячи жизней, возводили и низвергали фаворитов, свирепо обрушивались и на пушкинского прадеда... Но предоставим слово самому поэту, продолжим чтение его записок: «После смерти Петра Великого судьба (Ганнибала) переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан».

Опять кое-что взято из «немецкой биографии», кое-что из рассказов... Всего несколько слов о сибирском житье Абрама Петрова (впрочем, именно после этого момента он твердо именует себя Ганнибалом). Одна-две фразы – но за

ними три года жизни в тех краях, где несколько лет спустя окажется «по науке» Степан Крашенинников. Ганнибал, опытный инженер, тоже занят в Сибири серьезными делами, мы точно знаем, какие укрепления он там возводил по последнему слову европейской науки и техники, но «академии студент» все же по своей охоте забрался в эту отчаянную даль; Ганнибал же – явно против воли.

Пушкин иронизирует – «*измерить Китайскую стену*», – в «немецкой биографии», разумеется, иначе: там говорится о «китайской границе»; Пушкин, однако, знает, о чем пишет: «Китайская стена» находится в Китае, а не близ Иркутска, однако правнук нарочно пишет нелепость, подчеркивая таким образом, что прадеду важных поручений не давали, что все это был лишь повод – выслать его из столицы...

К сожалению, Пушкин так и не познакомился с необыкновенным по выразительности документом, отчаянным прошением прадеда, отправленным 29 июня 1727 года всемогущему Меншикову из Казани (по пути в Сибирь): «Не погуби меня до конца... и кого давить такому превысокому лицу – такого гада и самую последнюю креатуру на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам...»

Все это было, однако, за несколько лет до нашего *второго* дня, 4 октября 1737 года.

Впрочем, поэт, кажется, ясно представляет житье-бытье

предка в 1730-х годах: следует всего семь фраз, но зато пушкинских! «Судьба Долгоруких известна. Миних спас Ганнибала, отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика... Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами.

В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола».

Итак, Ганнибал, по рассказу Пушкина, чуть не лишился головы вслед за бывшим послом Василием Долгоруким (в свите которого некогда возвращался из Франции), вместе с другими противниками Анны Иоанновны. Влиятельный полководец Миних чудом спас... С политическими неприятностями приходят семейные, и наш герой осенью 1737-го – давно в печали, отставке: в своей деревне вспоминает славные петровские годы и ожидает...

Мы теперь точно знаем, что Ганнибалова деревушка (вернее, хутор, мыза) называлась Карьякула и находилась в тридцати верстах юго-западнее Ревеля (нынешнего Таллина): пять крестьянских хозяйств и не намного большее помещичье... Знаем также, что с первой женой отставной майор расправился куда страшнее, чем это представлялось поэту: согласно материалам бракоразводного дела, обнаруженного много лет спустя, муж «бил несчастную смертельными побоями необычно», обвиняя жену (и, кажется, не без оснований) в попытке его отравить; много лет держал ее «под караулом», на грани голодной смерти. Война супругов, продолжавшаяся много лет, завершилась разводом и отправкой Евдокии Андреевны из Петербурга в Тихвинский монастырь.

О, Ганнибал! Где ум и благородство!  
Так поступить с гречанкой! Или просто  
Сошелся с диким нравом дикий нрав.

.....

Мне все равно. Гречанку жаль, и я  
Ни женщине, ни веку не судья<sup>1</sup>.

К осени 1737 года Ганнибал уже был отцом двух «черных детей»: старшего сына Ивана, будущего знаменитого генерала, и старшей дочери Елизаветы (да сверх того – от первого брака – нелюбимой Поликсены). До рождения пушкинского собеседника Петра Абрамовича Ганнибала оставалось пять

---

<sup>1</sup> Из поэмы Д. Самойлова «Сон Ганнибала».



лет, до появления на свет прямого деда Осипа Абрамовича – семь лет...

Картина вроде бы ясна, но опять, опять раздается глас «историка строгого», который придирается к складному пушкинскому рассказу. Оказывается, тайное житие в эстонской деревне, боязнь, что обман откроется, – все это, по мнению авторитетных современных исследователей, «легенда, далекая от действительности».

На этот раз речь идет уже не о частном, хоть и эффектном эпизоде – встречал царь Петр черного крестника или не встречал? Тут спорят о целом десятилетии ганнибаловской жизни, об отношениях с грозной властью Анны и Бирона...

Документы свидетельствуют, что, возвратясь из Сибири, майор Ганнибал... поступил на службу, то есть отнюдь не скрывался, а был на виду: два года, с 1731 по 1733 год, он занимал должности военного инженера и преподавателя гарнизонной школы в крепости Пернов (нынешнее Пярну). Потом действительно семь лет просидел в деревне – но совсем не тайно – и время от времени сам напоминал правительству о своем существовании: например, просил императрицу Анну об увеличении пенсии, но получил отказ...

Итак, опять ошибка или неточность?

Да, несомненно.

Но, оказывается, бывают ошибки не менее любопытные, чем самые верные подробности.

## КОЛОКОЛЬЧИК

Мемуары Ганнибала по-французски и другие «драгоценные бумаги» – сколько б мы отдали, чтобы прочесть их! Одно дело *немецкая биография*, составленная родственником через несколько лет после кончины самого рассказчика, совсем другое дело – его собственноручные записки, наверное весьма откровенные, если было чего «панически бояться»; кстати, французский язык, столь распространенный среди дворян конца XVIII и начала XIX столетия, в петровские времена считался еще отнюдь не главным и уступал в России немецкому, голландскому; пожалуй, лишь с 1740-х годов, когда новая императрица Елизавета Петровна сильно ослабила немецкое и усилила французское влияние при дворе, – пожалуй, только тогда французский начинает брать верх. Так что, сочиняя по-французски при Анне Иоанновне, Арап Петра Великого все же был в большей безопасности, чем если бы писал по-русски, по-немецки... Но вот что любопытно: в немецкой биографии ни слова о сожженных записках, о страхе. Это понятно: там ведь о покойном Абраме Петровиче говорится только хорошее; но от кого же Пушкин дознался о паническом сожжении записок? Наверное, все тот же Петр Абрамович, который, вручая внучатому племяннику *немецкую биографию*, мог вздохнуть о французской... Сказать-то сказал в 1824-м или в 1825-м, но Пушкин

с «особенным чувством» эту подробность запомнил и десять лет спустя внес ее в свою «Автобиографию».

Насчет «особенного чувства» мы не фантазируем, но уверенно настаиваем: дело в том, что на несколько страниц раньше та же самая пушкинская «Автобиография» начиналась вот с каких строк: «...в 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв».

Итак, Пушкин «принужден был сжечь свои записки», Ганнибал «велел их при себе сжечь».

В потомке повторяется почти буквально история предка, и не один раз, а постоянно в начале 1830-х годов поэт запишет о дедах: «Гонимы, гоним и я».

Подобные сопоставления – может быть, ради них и разговор о предках ведется:

Упрямства дух нам всем подгадил...

Не вызывает никаких сомнений, что много раз, рассказывая о Ганнибале и других пращурах, Пушкин сознательно сопоставляет биографии, выводит «семейные формулы». Но иной раз это происходит *неумышленно* – и тем особенно интересно!

Страх старого Ганнибала – страх колокольчика... Пуш-

кин не утверждает прямо, будто записки были сожжены при звуке приближающейся тройки; зато известный историк Дмитрий Бантыш-Каменский со слов Пушкина записал о Ганнибале, что в уединении тот занялся описанием истории своей жизни на французском языке, но однажды, услышав звук колокольчика близ деревни, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил сжечь свою интересную рукопись.

Итак, колокольчик...

Колокольчику под дугою лихой тройки Пушкин посвятил немало знаменитых строк:

Колокольчик однозвучный утомительно гремит...

Колокольчик вдруг умолк...

Кто долго жил в глуши печальной,

Друзья, тот верно знает сам,

Как сильно колокольчик дальной

Порой волнует сердце нам...

Колокольчик – это дорога, заезжий друг или – страх, арест, жандарм... Январским утром 1825 года в Михайловском зазвенел колокольчик Пущина:

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

Как любопытно, что и прадед переживал те же самые чувства... Как важно...

Одно плохо —

## НЕ БЫЛО КОЛОКОЛЬЧИКА

Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – один из самых интересных людей, которых я встречал. Он написал для школьников немало прекрасных книг о людях конца XVIII – начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие)... Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или о деталях конской сбруи 1810-х годов, – все точно, все так и было, и ничуть не иначе!

Удивляться этому не следует, ибо Глинка-писатель был и крупным ученым, который работал во многих музеях, был главным хранителем русского отделения Государственного Эрмитажа и великолепно знал немыслимое количество людей и вещей прошлого...

Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:

– Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего... Зато какой

славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной – «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете... Звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, – значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскую службою на Кавказе офицерские чины, но эдак годам к тридцати пяти – сорока, а ваш мальчик лет двадцати... да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–1830-х годах еще не носили. Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.

Так что никак не получается декабрист – а вообще славный мальчик...

Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, написавшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки», особые застежки на гусарской куртке – доломане, были введены через несколько лет после гибели Лермонтова (указывается точная дата).

«Мы с женой целый вечер смеялись...»

Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения насчет старшего Ганнибала, его записок и колокольчика.

– Не слышу колокольчика, – сказал Владислав Михайло-

вич.

— То есть где не слышите?

— В начале, в середине XVIII века не слышу, да и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою: и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал...

Не помнил Владислав Михайлович колокольчика при Петре Великом и ближайших его преемниках; не помнил и предложил справиться точнее у лучшего, по его мнению, знатока «колокольных дел» Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке: не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: часто на колокольчике стоит год изготовления... Самый старый из всех известных — 1802, в начале XIX столетия...

Впрочем, по разным воспоминаниям и косвенным данным, время появления первых ямщицких колокольчиков под дугою относится к 1770–1780-м годам, времени правления Екатерины II.

Значит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II». Итак, во-первых, прадед не так уж боялся, совсем не скрывался даже в 1730-х годах, а во-вторых, колокольчика не слы-

хивал...

Что же истинного в пушкинской записи? Прежде всего, что Ганнибал вообще-то *побаивался*... Ведь недавно из Сибири вернулся, знал, как одних волокут на плаху, а других – в каторжные рудники.

Так что общий тон тогдашней эпохи, возможность легкой гибели – все это и через несколько поколений дошло к поэту, схвачено им верно.

Но вот – колокольчик...

Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин.

Не зная точно, когда его ввели, он невольно *подставляет* в биографию прадеда свои *собственные* переживания.

В многочисленных пушкинских строках о колокольчике слова насчет прадеда единственные, где этот звонкий спутник является вестником зла... А ведь под колокольчиком ехал Пушкин в южную ссылку, а оттуда – в псковскую... Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого «у нас, грешных, ничего не делается», привозит свободу, с виду похожую на арест. Пушкин, в ожидании жандармского колокольчика или «вообразив, что за ним приехал нарочный», сжигает записки...

Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем – в Петербург, Арзрум, Оренбург – и провожал в последнюю дорогу...

Итак, Абраму Петровичу Ганнибалу *нечаянно* приписан



пушкинский колокольчик. Поэт *проговорился* – и тем самым допустил нас в свой скрытый мир, сказал больше, чем хотел, о своем *многолетнем напряженном ожидании*...

Пушкин, между прочим, сам знал высокую цену таких «обмолвок» и однажды написал другу Вяземскому: «Зачем жалеешь... о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии».

Самое интересное для нас слово в этой цитате – *невольно*. «Исповедался невольно в своих стихах» – это Пушкин о Байроне и, конечно же, о себе самом...

*Невольно* поместив колокольчик в XVIII столетие (знал бы, что ошибается, конечно, убрал бы), Пушкин, выходит, «исповедался» в своих записках.

Что же касается Абрама Петровича, то 4 октября 1737 года он сидел в своей Карьякуле с женой, мальчиком и двумя девочками; жил деревенской жизнью – никого не трогал; вспоминал Петра, бывшие милости; жалел, что не имеет способа блеснуть знаниями, просвещением, и побаивался тройки (пусть и без колокольчика), побаивался страшной бумаги, которая вдруг может против воли перенести с одного океана на другой.

*4 октября 1737 г.* Осталось договорить о молодом человеке, который в невеселом осеннем Охотском море, на краю гибели, качает помпу по сто раз и падает без сил, припо-

миная время от времени, что в море полетела его собственная сумка с чистой бумагой для записей и еще одиннадцать сумок с едой да корзина с бельем. Так что осталась у бедного студента только одна рубашка да несколько записных книжек, с которыми не расставался никогда. Все полетело за борт, ибо «несчастливы были те, кладь которых лежала сверху».

«Таким образом плыли мы, претерпевая, кроме указанного беспокойства, ежедневную стужу и слякоть и в 9 часов утра 14 октября вошли в устье Большой речки».

Камчатка открылась; все плохое как будто позади, но именно тут едва избежали верной гибели: не очень опытные мореходы приняли отлив за прилив и врезались в большие белые валы, уверенные, что сейчас благополучно пристанут к берегу. Тут их, однако, понесло назад, утлая «Фортуна» затрещала, «многие советовали отойти обратно в море и подождать начала прилива. Но если бы так поступили, то наше судно вовсе бы погибло, так как жестокие северные ветры продолжались больше недели. Этим ветром нас отнесло бы в открытое море, и там „Фортуна“ погибла бы, разбитая волнами. Однако другим казалось, что более безопасным было выкинуться на берег, что и было сделано. Наше судно выкинулось саженьях в ста к югу от устья Большой речки, и тотчас оно оказалось на сухом месте, так как отлив еще продолжался.

К вечеру, когда начался следующий прилив, из судна вы-

шибло мачту, а на другой день мы нашли только его обломки, все остальное унесло море.

Тогда мы увидели, сколь „Фортуна“ наша была ненадежна, ибо доски внутри были настолько черны и гнилы, что их можно было без труда ломать руками».

Фортуна, судьба, была очень ненадежна...

Земля заходила, завертелась у пассажиров под ногами. Крашенинников решил, что это от слабости и морской качки, но оказалось, что он ошибся: земля на самом деле тряслась. Камчатка встречала путешественников вулканом, землетрясением. Для здешних мест – дело обыкновенное.

Сын петровского солдата, академии студент Степан Крашенинников без сил и без вещей ступает на ту землю, которая подарит ему всероссийскую и мировую славу.

Но сейчас Крашенинникову, честное слово, не до того...

## Глава третья

### 25 ноября 1741 года

Этот день Степан Петрович Крашенинников встретил в губернском городе Иркутске.

Четыре года с небольшим прошло со времени нашей «второй главы», и почти все это время ученый пробыл на краю света: эта фраза сегодня не очень-то звучит: ведь даже название мыса Край Света, резко вдающегося в море на Курильском острове Шикотан, означает всего лишь, что от него на восток, до Сан-Франциско одна вода; однако между 1737 и 1741 годами, заверяем, Камчатка точно была краем света, краем человеческого знания – и от нее на восток простирались почти совершенно неведомые воды. 1537 дней прожил студент на Камчатке, голодал, бедовал (пока не помогли местные власти да новые вещи не пришли взамен тех, что погибли с «Фортуною»), но притом столько записал, зарисовал, собрал, что на обратном пути, когда опять поплыл через Охотское море, боялся во сто крат больше, чем прежде: если и сейчас ящики полетят за борт – пропали четыре года невероятных трудов... Но обратный путь оказался счастливым, и долгая дорога по Сибири располагает к сладостному предвкушению будущего и приятному возвращению к минувшему...

Первое дело на Камчатке было научиться говорить с мест-

ными жителями. Русских на полуострове немного, но один из них хорошо умеет объясняться со здешним народом и берется помогать студенту. Крашенинников, однако, торопился сам выучиться языку камчадалов (или, как они сами себя называют, ительменов), каждый день записывает незнакомые слова и вскоре пускается в разговоры.

Камчадалы – люди веселые, поговорить не прочь. Летом мужчины охотятся на тюленей, ловят и сушат рыбу. Женщины собирают травы, чтобы приготовить из них разные лакомства или сплести покрывало, ковер.

Топоры и ножи почти все сделаны из камня или кости: о железе камчадалы только недавно узнали от русских и еще не совсем к нему привыкли.

Студент смешной, обо всем расспрашивает, улыбается – видно, хороший человек.

Вот приходит один камчадал к другому в гости. Позвали и Крашенинникова. Разжигают огонь. Русский протягивает свой кремь, чтобы, ударив по камню, выбить искру (спичек в то время еще никто не знал). Смеются хозяева: зачем камень о камень бить? Берут палочку, вставляют в специальную дощечку и быстро, быстро вертят: дерево нагревается, затем начинает тлеть, огню дают «поесть» особого мха – и вот уже костер горит прямо в юрте. Становится жарко, дым крепко ест глаза. А камчадал начинает угощать соседа рыбой, мясом, травяным отваром.

Гость поел, ему еще предлагают, потом еще... Пока не

взмолится пришедший: «Не могу больше съесть ни кусочка!»

Хозяин смеется: «Ладно, но плати за то, чтобы больше не есть». И гость отдает все, что хозяин ни попросит. И рукавицы, и нож, и украшения, и почти всю одежду... Но пройдет немного дней, и сегодняшний хозяин станет гостем, придет в юрту того, кто сегодня угощал. И опять будет пир, пока гость не устанет есть и сам не отдаст хозяину все, что тот ни попросит.

Так и меняются камчадалы друг с другом вещами. А за деньги ничего у них не получишь, только хохочут, когда студент вынимает монету. Что в ней толку? Разве деньги можно съесть или надеть на себя? «Давай лучше меняться, или просто так бери что хочешь, не жалко!»

Кончается короткое камчатское лето, и жители после трудов спешат повеселиться: запевают песни, непривычные и странные для приезжего, или пускаются в пляс. Иногда целый день не перестают веселиться ни на минуту да еще ночь прихватывают, и так им жарко, что бегут к морю охладиться...

Но вдруг один сорвался с берега и тонет. Никто не бросился помочь.

— Что же вы? — закричал Степан Петрович и приготовился кинуться вниз.

Но его хватают, удерживают: стой, ни с места! К счастью, утопающий сам, хоть и с трудом, выкарабкался на камни.

– Нельзя спасти, – объясняют старики. – Если спасешь, значит сам когда-нибудь непременно утонешь.

– Да что за чепуха! – горячится русский.

Но никто с ним не согласен. И как переубедить этих людей? Лучше поговорить о чем-нибудь другом.

– А где же ваши собаки? – спрашивает Крашенинников.

Хозяин машет рукой: там где-нибудь, в лесу, в поле. Сами добывают себе еду. А вот как зима настанет, есть будет нечего, придут. Толстые, ленивые, наелись за лето. Их привяжут и заставят крепко поголодать – иначе плохо повезут по снегу. «Да скоро зима – сам увидишь!»

В августе уже появляется иней, и вскоре сильные ветры приносят снег. Прошелся над сугробом лютый мороз, и затвердела, как корка, снежная гладь.

Теперь можно поехать туда, где летом увязнешь в болоте. Собаки запряжены – и вперед... Только не зевай, особенно когда с горы спускаешься: мигом перевернутся сани и унесутся с собаками вниз, а ты догоняй по пояс в снегу.

Бежит упряжка по ущелью, а с обеих сторон поднимаются красивые, очень крутые горы.

– Можно ли на них взобраться?

– Взобраться легче, чем спуститься, – отвечает проводник. – Только на длинных ремнях, цепляясь за камни, можно слезть вниз.

А далеко-далеко курится гора – не та, которую видел Крашенинников в первый день, другая, – и время от времени над

ее вершиной прыгают языки огня. Крашенинников хорошо знает, что это прорывается наружу подземное пламя, но все-таки спрашивает камчадала:

– Отчего гора горит?

– Оттого, что горные духи в эту пору топят свои юрты.

– Чем же топят?

– Китовым жиром.

– Так ведь киты в море плавают, а духи, ты говоришь, на горе живут.

– Ничего ты не знаешь, – усмехается проводник. – Духи все могут: иногда спускаются в море и выходят оттуда с растопыренными руками, а на каждом пальце насажено по киту. Десять пальцев – десять китов...

«Какая красивая сказка!» – думает русский.

«Вот чудак, – думает о нем камчадал, – не знает, отчего гора горит...»

Тут оба замечают, что собаки не хотят бежать по снежному полю, скулят, зарываются в снег.

– Буран идет, – объясняет проводник.

Путешественники сейчас же укладываются рядом с собаками, чтобы греться их теплом, накрываются чем только можно, укрепляют сани, груз – и вовремя! Налетел буран, да такой, что не видно ничего в двух шагах. Ни двинуться, ни встать невозможно: только лежать, день, два, даже три, да отряхиваться, чтоб не засыпало совсем. И все же наверху наметает огромный сугроб, и поэтому, как только ветер



стихнет, – скорее откапывайся.

Наконец непогода кончилась. Солнце, отражаясь от снега, слепит глаза. Всем – и людям, и собакам – мучительно хочется есть, пить. К счастью, на пути селение. Хозяин выходит из юрты, рад гостям. Опять набегает пурга, и как славно слушать ее вой у огня. И самое время попросить хозяина рассказать сказку или описать недавнюю войну.

У камчатских племен нет царей, и все дела мужчины решают сообща, на племенном совете. Но все же на тех советах главное слово принадлежит старикам, а еще главнее – слово вождя.

Конечно, вождь не имеет такой власти, как русский царь в Петербурге, но он всех богаче. На севере Камчатки, у коряков, Крашенинников знакомится с вождем, у которого так много оленей, что он и не знает, как их сосчитать.

– Сколько их? – спрашивает русский.

– Столько, – отвечают ему, – сколько пальцев на руках и ногах у одного человека, потом у двух человек, у трех, у десяти, потом у двадцати...

Не умеют жители Камчатки считать без пальцев. С трудом удастся понять, что у вождя сто тысяч оленей!

Стоит ли воевать при таком богатстве? Оказывается, как раз самые зажиточные люди стремятся приобрести еще больше добра и заставляют идти войной целые племена. Воюют храбро, отчаянно. «А когда увидят, – записывает Крашенинников, – что неприятель берет верх, то всякий камча-

дал, заколов жену и детей своих, или разбивается насмерть, бросившись с берега, со скалы, или с оружием устремляется на неприятеля, один на всех – и гибнет в бою».

Грустно Степану Крашенинникову. Совсем не так весело на Камчатке, как показалось ему в первые дни. Легко погибнуть в этом краю и камчадалу и русскому: от бури, вулкана, шторма, от пули, стрелы, топора.

«На Камчатке проживешь семь лет, что ни сделаешь...» Крашенинников семь лет не прожил, но сделал за четыре года столько работы – другому лет на двадцать... Огромный полуостров объездил вдоль и поперек несколько раз – и все ему мало. Все беспокоится, что в Петербурге, Москве почти совсем ничего не знают о таком дальнем крае, как Камчатка. Крашенинников повторяет: «Надо знать свое отечество во всех его пределах».

Множество его записей и наблюдений станут сокровищем мировой науки: ведь он видел едва затронутый европейской цивилизацией первобытный мир; видел таким, каким этот мир вскоре – через несколько десятилетий – уже не будет; Крашенинников вовремя приехал и вовремя на все это взглянул.

На Камчатке же за четыре года к нему привыкли: куда ни приезжает, все высыпает наружу – радуются старому знакомому. Выходят купцы, но глядят на приезжего без всякого интереса: что толку в нем – ни лисиц, ни бобров не привез, разве что по одной штуке для коллекции; одни бумажки,

да камни, да сухие растения. А ведь за каждого соболя или лису, если довезти их до Москвы или Петербурга, важные господа большие деньги дадут! Нет, совсем не интересуются купцы Степаном Петровичем.

А тот не унывает, радуется, что привез много вещей, за которые ничего платить не будут. Не только привез, но каждому листику, шкурке, камню знает название – на камчатском языке, на русском, да еще по-латыни и по-гречески: так положено записывать любому ученому, чтобы в другой стране его понять смогли (вот где пригодилось студенту знание языков!). Купцы давно ушли в свои избы. Зато камчадалы не просто рады веселому и доброму гостю, но даже поют сложенную о нем песню. По-камчатски она так начиналась: «Студенталь теемрик битель читис киллизик»; и сам герой быстро перевел ее на русский язык:

Ежели бы я был студент, то б описал всех девушек;  
Ежели бы я был студент, то описал бы быка-рыбу;  
Ежели б я был студент, то описал бы всех морских чаек,  
поснимал бы все орлиные гнезда...  
Ежели б я был студент, то описал бы горячие ключи, все  
горы, всех птиц и всех морских рыб...

И вот – наступает день прощания; те, кто остается, и тот, кто уезжает, понимают, что вряд ли еще когда-либо увидятся...

Прощайте, друзья в юртах и избах!

Прощайте, вулканы, добрые медведи (жители уверены, что иногда только зверь любит пошутить: увидит бабу с корзиной ягод, ягоды отнимет; редко-редко кожу с человека сдерет, но все же живым оставит)...

Прощайте, камчатские бураны и камчатские сказители...

Прощай, студент!

12 июня 1741 года в последний раз взглянул на уходящий за черту прибоя камчатский берег...

И вот уже полгода в пути.

Для Восточной Сибири поздний ноябрь – давняя зима; реки стали, грязь и болота заросли льдом...

С древнейших времен до первых паровозов максимальной скоростью человеческого передвижения была быстрота лучшего коня или тройки, колесницы: максимум 18–20 километров в час на коротком утоптанном зимнем пути (лучше всего по льду замерзшей реки); но средняя скорость большого пути, где нужно делить длинные версты на долгие часы, много меньше... Поэтому в XVIII столетии Россия – страна огромная, медленная (в тридцать—сорок раз медленнее, чем сегодня); страна, где от обыкновенного черноземного городка, как позже напишет Гоголь, «три года скачи – ни до какого государства не доедешь». Между тем солидные путешественники только с петровского времени принялись скакать сломя голову; прежде – чем важнее, тем медленнее: воевода из Москвы в Якутск «на новую работу» ехал в 1630-х годах не торопясь, пережидая разливы и чрезмерные холода,

ровно три года (средняя скорость – 7 верст в сутки). В XVIII–XIX веках медленная езда подобает только царской фамилии. Сохранилось расписание 1801 года, относящееся к приезду Александра I из Петербурга в Москву на коронацию (сходный порядок был и при других коронаваниях XVIII века): в первый день кортеж проходил 184,5 версты (ночуют в Новгороде), во второй – 153 версты (ночуют «в Валдаях»), на третий – всего 92 версты (сон в Вышнем Волочке), на четвертый, отдохнув, – 134 версты до Твери; на пятые сутки экипажи пройдут 113 верст до Пешек, на шестые – всего 50 до загородного Петровского дворца и оттуда, только на седьмой день, «имеет быть торжественный въезд в столичный город Москву». Медленности выезда соответствовало и долгое возвращение, так что еще в 1750-х годах улицы Северной столицы зарастали травой, пока двор и множество сопровождающих, сопутствующих не перемещались обратно, на берега Невы.

Огромная страна под властью свирепейших морозов. В Северном полушарии за последние три-четыре века самое лютое время – XVIII столетие (в феврале 1799 года в Петербурге в среднем «29 с половиной по Реомюру», то есть 37° по Цельсию).

А теперь немного цифр, без которых не обойтись! На огромных пространствах империи в 1740-х годах проживает меньше 20 миллионов жителей, из которых треть в Нечерноземном центре, много – в западных и юго-западных губер-

ниях, но чем дальше на юг, а особенно на восток, тем глуше, просторнее... На всю Сибирь и в конце столетия едва набирался миллион.

Около 20 миллионов жителей и огромное пространство с максимальными скоростями передвижения 10–20 верст в час... Как редкие острова в снежном равнинном океане – города, городки. Всего четыре-пять душ из каждой сотни – городские жители, а девяносто пять из ста – селяне.

Как мелкие островки, скалы, камни – деревни по сто – двести душ, а в тех деревнях более шестидесяти из каждой сотни – крепостные.

На всю же империю никак не меньше ста тысяч деревень и сел, и в тех деревнях известное равенство в рабстве (80 % тогдашних российских крестьян – середняки); но высшей мерой счета было у тех людей 100 рублей, и кто имел 100 рублей, считался богатеем беспримерным.

Сто тысяч деревень, оживающих при благоприятном «историческом климате», но зарастающих лесом, исчезающих с карт целыми волостями после мора, голода, а еще чаще – после тяжелой войны или грозного царя.

Таковы были тогдашние российские пространства, таковы дороги, столь медленные, что по пути обзаводились семьями, рожали детей, иногда даже меняли мнение о смысле жизни... Вот и академии студент Крашенинников рапортует с дороги начальству, что, «будучи в Якутске, женился, взяв за себя родную племянницу жены майора и якутского вое-

воды господина Павлуцкого, а дочь тобольского дворянина Ивана Цибульского, именем Степаниду».

Всего на месяц остановился в Якутске Крашенинников, а успел обвенчаться с дворянкою, племянницей воеводы... Вроде бы «великая честь» солдатскому сыну – и можем только догадываться, что сосватал молодых давний знакомец майор Павлуцкий, который был важной властью на Камчатке и, кажется, немало помог молодому ученому.

Так или иначе, а из Якутска едет Крашенинников уж с молодой женой – два месяца вверх по Лене, наперегонки с догоняющей зимой, затем – 24 дня на санях... Сотни верст надо проехать, чтобы повстречать одинокое жилье или крохотный поселок; изредка приходится предъявлять придиричивому начальнику огромного пустынного края бумаги, удостоверяющие, что «академии студент путешествует по казенной надобности», именем царствующей императрицы Анны Иоанновны... Правда, еще перед его отъездом с Камчатки принеслась из Петербурга, с опозданием на много месяцев, весть о кончине страшной императрицы – и все местное начальство собралось в церкви, чтобы присягнуть императору Иоанну Антоновичу. Некоторые называли нового повелителя Иоанном или Иваном VI (считая от древнего великого князя Ивана Калиты, Иоанна I); однако вскоре появились монеты с надписью «Иоанн III» (это означало, что счет ведется от первого царя, Ивана Грозного).

Новый царь, император... Даже на Камчатке, впрочем,

знали, что государю Ивану Антоновичу в момент вступления на престол было от роду два месяца и пять дней и что его мать Анна Леопольдовна, красивая, легкомысленная, веселая дама, была родной племянницей царицы Анны Иоанновны, которую специально «выписали» в Петербург из Германии, так как у венценосной тетушки не было детей.

Там, в русской столице, была устроена свадьба Анны Леопольдовны с немецким принцем Антоном-Ульрихом Брауншвейгским, от этого брака и явился на свет младенец, провозглашенный теперь императором всероссийским. Регентом при грудном Иоанне VI был назначен все тот же герцог Бирон, имя которого наводило трепет во всех пределах Российского государства (в том числе и в эстонском уединении Абрама Петровича Ганнибала).

Пройдет, однако, еще месяц без малого – и помчится из столицы новая весть: что Бирона отставили, арестовали и везут в Сибирь, а регентшей объявлена сама Анна Леопольдовна, августейшая матушка императора. В сибирских краях, которые проезжал Степан Петрович, все больше помалкивали о петербургских «чудесах»: *не нашего ума дело!*

Много, много лет спустя великий писатель-революционер Герцен вот как представит тогдашнюю жизнь (перечисляя разных царей и разные государственные перевороты): «В свое время приедет курьер, привезет грамотку – и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон – добрый человек, а потом – что он злой человек, верит, что



сам Бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елизавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что Бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну... потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает».

Если уж Москва «верит грамотке» – что говорить про сибирскую глухомань: разве что ухмыльнется про себя просвещенный студент Крашенинников да, охмелев, но трижды оглянувшись, шепотом ругнется новый родственник майор Павлуцкий насчет обилия немцев возле российского трона; и хотя малолетний Иоанн VI – правнучатый племянник Петра Великого (и прямой правнук Ивана V – старшего, большого брата Петра I), но не лучше ли видеть на престоле прямых потомков великого императора, например его дочь Елизавету Петровну, которая, говорят, немцев не жалует...

Крашенинников уж двадцатый день в Иркутске, здесь путешественники проводят «медовую зиму», приводят в порядок дела и пожитки, собираясь в путь еще на шесть тысяч верст к западу, с Ангары на Неву...

## 25 НОЯБРЯ 1741 ГОДА

Иркутск, 1741 год... Сохранился удивительный документ, *Иркутская летопись*, которую с XVII века вели городские энтузиасты, грамотеи... Она содержит интереснейшие сведения о жизни, истории, психологии расположившегося на Ангаре, недалеко от Байкала, крохотного городка: несколько тысяч жителей, несколько каменных домов, – но притом столицы самой большой административной единицы *в мире*: ведь от Енисея до Чукотки, от Камчатки до Амура – все Иркутская губерния!

Перелистаем же иркутскую хронику, отступив на несколько лет от интересующего нас 1741 года.

*1728 год* – в декабре прибыл в Иркутск поручик бомбардирской роты Абрам Петров, командированный для построения Селенгинской крепости. Это наш Ганнибал!

«Река Ангара вскрылась 11 марта, а покрылась 21 декабря».

*1729 год*. Приезжал в Иркутск из Якутска свиты командора Беринга, флота поручик Алексей Чириков за получением денег для экспедиции.

*1731 год*. В сентябре проехали через Иркутск китайские послы, едущие к российскому двору, для поздравления императрицы Анны с восшествием на престол. Их препровождал драгунский капитан Елисей Давыдов.

*1732 год.* В ноябре месяце Заморскими воротами зашел в город Иркутск медведь, прошел подле загороди палисадной и вышел в Мельничные ворота.

*1735 год.* Апреля 11. Ангара вскрылась от льда.

Приехали в Иркутск профессора Герард Фридрих Миллер, сочинитель Сибирской истории, и Иоганн Георг Гмелин – ботаник. Они ездили за Байкал, в Нерчинск, Якутск и другие места...

О прибывшем тогда вместе с профессорами Степане Крашенинникове в летописи, как видим, ни слова: чин невелик. Но ему и не важно...

«1741 год. Река Ангара покрылась льдом 12 января, а вскрылась 21 марта.

1742 года январь. По случаю восшествия на престол императрицы Елизаветы приезжал с присягою и манифестом поручик Кар».

Так Степан Крашенинников с опозданием на два месяца узнает, что с 25 ноября минувшего 1741 года он является верным подданным уже третьей (за время его путешествия) высочайшей персоны. Важное известие со скоростью 180–200 верст в сутки распространилось с берегов Невы во все стороны.

## **ВЕЧЕРОМ 25-го**

В ночь на 25 ноября 1741 года гренадерская рота Преоб-

раженского полка еще раз переменила власть в России. Рота – немного, около двухсот человек; но огромные корпуса, армии разбросаны по стране, а гвардейская рота – «правильно расположена»: дворец не впервые взят штурмом теми, кто поближе к нему, остальная же империя – придет день, «получит грамотку» о новом правителе. На этот раз подготовка заговора была, кажется, довольно простой: Иван Антонович, на четырнадцатом месяце царствования и шестнадцатом месяце жизни, еще был не очень государственным человеком; его мать Анна Леопольдовна четыремья месяцами раньше родила девочку, Екатерину, и, по обыкновению своему, проводила недели в пирах и забавах; наконец, отец императора принц Антон более всего следил за постройкой нового дворца и парка, где можно было бы по дорожкам разъезжать на шестерке лошадей... К тому же он только что присвоил себе сверхвысокий чин *генералиссимуса*, а вопрос о соответствующей форме и параде был не из простых...

Для того чтобы свергнуть этих простодушных правителей, понадобилось немного. Во-первых, претендентка царского рода: таковая давно имелась. Тридцатидвухлетняя Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Екатерины I, долго жила в страхе и небрежении. Другие, более весомые претенденты оттирали ее от престола и постоянно подозревали, следили... От тюрьмы и ссылки принцесса спаслась, может быть, вследствие веселого, легкомысленного нрава, а также изумительно малой образованности... До конца дней

своих она так и не поверила, что Англия – это остров (действительно, что за государство на острове!); зато, по сведениям одного современника, во время коронации тетушки Анны Иоанновны принцессу Елизавету разглядел некий гамбургский профессор, который «от красоты ее сошел с ума и вошел обратно в ум, только возвратившись в город Гамбург».

Елизавету не считали за серьезную соперницу, и это ей немало помогло.

Второе благоприятное обстоятельство – ревность русских дворян к «немецкой партии»; мечта скинуть вслед за Бироном всех чужеземных министров, сановников, губернаторов и захватить себе их места и доходы. В гвардейском Преображенском полку было немало молодых дворян, готовых мигом возвести на трон «дщерь Петрову» – нужен только сигнал, да еще нужны деньги...

Третьим «элементом» заговора стал французский посол маркиз де Шетарди: ловкий, опытный интриган пересылал Елизавете записочки через верного придворного врача; француз не жалел золота для того, чтобы свое влияние на российский двор усилить, а немецкое – ослабить.

В нужный день в Преображенские казармы доставляются винные бочки – brave гвардейцы поднимают на руки любимую Елизавету, входят в спящий дворец Ивана Антоновича без всякого кровопролития... Разве что кому-то свернули скулу или кого-то сбросили с лестницы.

Впрочем, страсти разгорелись, когда достигли царских покоев: малолетних детей вырывают из рук кормилицы, четырехмесячную принцессу Екатерину Антоновну пьяный преображенец роняет; Анну Леопольдовну и принца Антона Брауншвейгского оскорбляют, вот-вот убьют... Тут, однако, является Елизавета, переодетая в мужской костюм (позже она часто станет на балах повторять этот «маскарадный номер», настаивая, чтобы и другие дамы «следовали ее примеру»: хитрость была в том, что дочери Петра мужской наряд был к лицу, толстым же фрейлинам и камергершам – отнюдь не всегда)...

Итак, является Елизавета и объявляет «царям» из Брауншвейгского семейства, что они больше не цари, но – жить будут...

## **«МОЛЧИТЕ, ПЛАМЕННЫЕ ЗВУКИ...»**

Так представлял Ломоносов политику новой царицы, которая велит молчать «пламенным звукам», то есть войне (в конце правления Анны Иоанновны шла война с Турцией; Анна Леопольдовна воюет со Швецией).

Молчите, пламенные звуки,  
И колебать престаньте свет:  
Здесь в мире расширять науки  
Изволила Елизавет.

Радость Ломоносова, конечно, и радость Крашенинникова: в той же знаменитой ломоносовской «Оде на день восшествия... Елизаветы Петровны» ученый-поэт напоминает новой царице, какими удивительными землями и богатствами она владеет. В стих попадают и те самые края, реки, моря, которые пересекал Степан Петрович в минувшем 1741 году.

Хотя всегдашними снегами  
Покрыта северна страна,  
Где мерзлыми борей крылами  
Твои взвевает знамена,  
Но Бог меж льдистыми горами  
Велик своими чудесами:  
Там Лена чистой быстриной,  
Как Нил, народы напояет  
И бреги наконец теряет,  
Сравнившись морю шириной.

Поэт воображает невообразимую Сибирь:

Охотник где не метил луком,  
Секирным земледелец стуком  
Поющих птиц не устрасал.

Как положено в поэзии, Ломоносов гиперболизирует, преувеличивает (впрочем, в Петербурге и сто лет спустя верили, будто по улицам Тобольска, Якутска, Иркутска так и бе-

гают соболя!). Однако дело не в скучной точности, а в идее! Новая царица хоть и не знает никакой географии, но по ее приказу «премудрость» скоро должна проникнуть даже в те края, где Крашенинников провел четыре славных года.

Невежество пред ней бледнеет.  
Там влажный флота путь белеет  
И море тщится уступить:  
Колумб российский через воды  
Спешит в неведомы народы<sup>2</sup>  
Твои щедроты возвестить.  
Там, тьмою островов посеян,  
Реке подобен океан<sup>3</sup>,  
Павлина посрамляет вран.  
Там тучи разных птиц летают,  
Что пестротою превышают  
Одежду нежных весны;  
Питаясь в рощах ароматных  
И плавая в струях приятных,  
Не знают строгия зимы.

Опять преувеличение, «смягчение» истины, но оно открывает нам, как же доволен Ломоносов событиями 25 ноября 1741 года! А Крашенинников, узнав новость в Иркутске, вероятно, жалеет, что он – не в Петербурге: сибирские

---

<sup>2</sup> Ломоносов говорит об экспедиции А. И. Чирикова, достигшей западных берегов Северной Америки.

<sup>3</sup> Речь идет о Курильских островах и Курильском океанском течении.



дороги длиннее, чем царствования...

Довольны ученые. Надеются и уцелевшие «птенцы гнезда Петрова».

## «ПОМЯНИ МЯ...»

ПУШКИН: «Когда императрица Елизавета взошла на престол, тогда Ганнибал написал ей евангельские слова: „Помяни мя, егда приидеши во царствие свое“. Елизавета тотчас призвала его ко двору, произвела его в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-аншефы, пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй Кобрино, Суйду и Таицы, также деревню Раголу, близ Ревеля, в котором несколько времени был он обер-комендантом».

Тут историкам почти не к чему придраться (разве что уточнить некоторые подробности). Действительно, новая царица быстро сделала майора генералом: соратник Петра Великого, ее отца, – это было при царице Елизавете «пропуском» к чинам и доходам. Ганнибалу были пожалованы (а также им самим приобретены) те деревни, которые через восемьдесят—девяносто лет станут пушкинскими: Зуево, мелькнувшее в перечне, – это ведь *Михайловское*... А рядом – Петровское... Пушкинский род, пушкинская география, пушкинская история выстраиваются *в ожидании ге-*

ния...

В конце мая 1975 года я познакомился в Таллине с Георгом Александровичем Леецем. Ему было за восемьдесят, на стенах его квартиры были развешаны охотничьи ружья, кинжалы, погоны артиллерийского полковника; книги на эстонском, русском, немецком, французском. «Последние годы, – говорит хозяин, – много работаю в архиве. Однажды наткнулся на документ, подписанный „Ганнибал“, вспомнил детство и перновскую гимназию, где заслужил высший балл за характеристику Ибрагима в „Арапе Петра Великого“...»

Пярну (Пернов) – тот самый город, где Абрам Петрович Ганнибал в начале 1730-х годов строил укрепления и учил молодых инженеров.

Прадед Пушкина, как видно, привлек Г. Лееца известной родственностью души, соединением в одной личности нескольких культурных пластов: Африка, Турция, Россия, Франция, Эстония (нет сомнений, что Арап владел и эстонским языком).

Леец показывает гостям немалую рукопись об Абраме Петровиче Ганнибале, одобренную лучшими авторитетами, и мы верим, что она непременно превратится в книгу.

Через полтора месяца Георга Александровича не стало... Затем издательство «Ээсти раамат» довело рукопись до печати с помощью иркутского писателя Марка Сергеева, тоже земляка Абрама Ганнибала (в книге Г. Лееца глава V называется «Ссылка и служба в Сибири», глава VI, самая боль-

шая, – «А. П. Ганнибал в Эстонии»).

Леец нашел неизвестные документы и о маленькой деревушке Карьякуле близ Ревеля, и о важных работах, которые предпринял генерал и обер-комендант Ревеля Ганнибал для укрепления вверенного ему города, и о его новом гербе – слоне с короною, напоминавшем наглым сослуживцам, что его права – не меньше, чем у них...

Не будем обгонять собственное повествование: пока что оно в конце 1741-го: оба героя наших, как и многие другие, полны надежд, иллюзий... Они *довольны*.

Несчастливы как будто только те, кого свергли.

## **«СЕМЕЙСТВО НЕСЧАСТНОГО ИОАННА АНТОНОВИЧА»**

Название подглавки пушкинское. К тому моменту, когда поэт в одном секретном, специально предназначенном для царя Николая I документе написал слова о «несчастном семействе», приближалось столетие того переворота. Сюжет, однако, по-прежнему оставался как бы «не существующим». «Известная персона», документы «с известным титулом»: так принято было изъясняться о свергнутом малолетнем императоре. Когда декабрист Александр Корнилович в 1820 году получил (по своей службе в Главном штабе) право на занятия в сенатском архиве, то по этому поводу возникла переписка его ведомства с министром юстиции и обер-проку-

рором Сената: начальники опасались за три секретнейших отделения в сенатском архиве – бумаги Бирона, Анны Леопольдовны, а также дела «Известного титула».

Позже, уж в тюремных казематах, Корнилович рассказывал своим товарищам «о временах Анны и Елизаветы».

В числе строго запрещенных книг об «известных персонах» имелись, конечно, заграничные брошюры. Еще в 1816 году была пресечена продажа вполне благонамеренной книги «Жизнь принцессы Анны, правительницы России»... Историк Карамзин не мог оторваться от попавших к нему в руки потаенных документов и мемуаров о том времени.

Дело Мировича, казненного в 1764 году за попытку освободить Иоанна Антоновича (вместе с приговором Пугачеву), было впервые добыто из-под спуда в 1826 году, когда власть искала в старинных судебных решениях сведения, нужные ей для осуждения декабристов. Интерес же самих декабристов к «принцам-узникам» еще усиливается в заключении и в Сибири, когда стали ближе, понятнее страдания разных «товарищей по несчастью»: в тюрьме вспоминает об Иоанне Антоновиче Кюхельбекер (стихи «Тень Рылеева»); Лунин и Никита Муравьев упомянули Ивана VI, перечисляя старинные перевороты, которые «не приносят у нас никакой пользы». Николай Бестужев создает в ссылке рассказ «Шлиссельбургская станция», где автор, глядя на стены крепости, думает «о завоевании Петра и смерти Ульриха»<sup>4</sup> – о

---

<sup>4</sup> То есть Ивана Антоновича, сына Антона-Ульриха.

вечном заключении несчастнейших жертв деспотизма».

Пушкин же пишет о «несчастном семействе» неспроста: надеется, что царь Николай заинтересуется и откроет секретные архивы. 21 июня 1831 года поэт извещал шефа жандармов Бенкендорфа о своем «давнишнем желании» – «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III»...

Верховная власть, однако, не торопилась допустить Пушкина к столь близким временам. Пройдут еще десятилетия, прежде чем будут опубликованы первые работы о судьбе побежденных 25 ноября 1741 года. Только с конца 1860-х годов печатается серия статей, обходящих, впрочем, некоторые острые и впечатляющие подробности старинной борьбы за власть...

Между тем осенью 1863 года, через 122 года после интересующих нас событий, было приказано изложить их в самом полном и откровенном виде.

Приказ получил Владимир Васильевич Стасов: ему, известному критику, искусствоведа, приказывать никто не мог. Иное дело – служба: Стасов с 1855 до 1906 года (51 год!) служил в одном из главных рукописных и книжных хранилищ России – Императорской Публичной библиотеке в Петербурге. Ведая «отделением искусств», он непосредственно подчинялся директору библиотеки Модесту Андреевичу Корфу (некогда лицейскому товарищу Пушкина). Корф был человек официальный, близкий к престолу, Стасов, наобо-

рот, считался в оппозиции, постоянно защищая искусство правды, реализма, «обнажения язв». При всей этой разнице во взглядах директор и подчиненный как-то ладили и находили общий язык; по-видимому, не очень обращали внимание на то, что их разъединяло...

И вот осенью 1863 года к Стасову поступает заказ Корфа – составить подробнейшую историю «Брауншвейгского семейства». Для этого Стасову открывают доступ в те самые секретные отделения, куда старались проникнуть Корнилович и Пушкин. Мало того, Стасову даны помощники, которые скопируют нужные секретнейшие политические материалы. Для чего же?

18 ноября 1863 года Корф извещает подчиненного, что в субботу идет с докладом к царю Александру II, и спрашивается, «не поспеет ли к тому времени хотя какой-нибудь отдельный эпизод из этой печальной драмы, который мог бы привлечь к себе любопытство государя?» Итак, царь, царская фамилия желают знать подробности. Именно в это время Стасов создает обширную работу для царского чтения, причем Корф обычно торопит перед праздником: «Государь просит новую главу на Пасху», «хорошо бы к Рождеству историческое чтение для государя».

Царю Александру интересно... Говорили, что он ненавидел читать по-печатному и даже опубликованные уже романы специальные писаря для него иногда переписывали... Автор этой книги должен признаться, что, повидав почерки

этих писарей, он с пониманием относится к царской причуде: после таких рукописей глядеть в книгу обыкновенной печати просто невозможно...

Однако в случае с Брауншвейгским семейством о книге не было речи: особые, доверенные писаря переписывали к праздникам, когда царь не работал, ту черновую рукопись, что готовил Стасов. Впрочем, перед подачей на царский стол текст все-таки прочитывал барон Корф и вычеркивал кое-что особенно резкое или неподходящее для императора.

Одна из беловых глав *царской рукописи* чудом сохранилась, где остальные – неизвестно. То ли «залегли» между случайными архивными делами, и тогда могут пройти столетия, прежде чем их вдруг разыщут; а может быть, погибли в огне революций или увезены на Запад кем-либо из царедворцев?

Так или иначе, беловая стасовская рукопись об Иване VI и его родне почти не сохранилась. Зато черновая уцелела. Ее точный адрес исследователям довольно давно известен: в Петербурге Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (так теперь называется бывшая Императорская Публичная библиотека), фонд 738 (Владимира Васильевича Стасова), опись I, дело 1. Иначе говоря, собрание бумаг и писем Стасова открывается огромной – в несколько сот листов – черновой тетрадью.

Недостаток черновика легко вообразить: перечеркивания, неразборчивость некоторых слов; однако это с лихвой перекрывается присутствием здесь всех «сомнительных» кус-

ков, предназначенных Корфом к изъятию из беловика. Стасов работает «на государя»; однако не стесняется и довольно откровенно пишет страшную хронику событий, начавшихся в ночь с 25 на 26 ноября 1741 года.

О Брауншвейгском семействе сначала было объявлено, что они отсылаются «в их отечество»: в Германии у Анны Леопольдовны немало родни; родная сестра принца Антона – датская королева Юлия-Мария.

До декабря 1742 года принцев держат в Риге, затем в Динамюндской крепости.

Тут пошли слухи, что принцев не только освободят, но и вернут к власти, тайные агенты пресекли попытки – впрочем, весьма наивные – «обратного переворота»... Все это увеличивало политические опасения Елизаветы Петровны. И вот вместо отсылки в Германию принцев переводят в глухой и дальний край – Холмогоры, в ста верстах от Белого моря, выход к которому крепко заперт Архангельском.

Под охраной и наблюдением – четыре главных арестанта, двое взрослых и двое детей, а также близкая к ним придворная дама. Затем число узников меняется: в тюрьме Анна Леопольдовна родила еще троих детей: дочь Елизавету (1743), сыновей Петра (1745) и Алексея (1746). Все пятеро детей – внучатые племянники и племянницы Елизаветы Петровны. Во время последних родов принцесса умирает, бывший же император Иоанн Антонович (как самый опасный претендент на престол) был отделен от семьи и затем пе-



реведен в Шлиссельбург. Таким образом, в Холмогорах, под надзором специального коменданта и команды, в конце концов оказывается принц Антон Брауншвейгский с четырьмя детьми от шестнадцати до двадцати одного года; о принцессе Екатерине, той девочке, которую «уронили на лестнице» во время переворота, сообщают, что она как будто глуховата и со странностями. Нездоровится и мальчикам...

В течение двадцати лет елизаветинского царствования переписка по поводу «известных персон» (изученная Стасовым и другими исследователями) сравнительно невелика. Дети Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны вырастают, не зная мира, за оградой своей тюрьмы: летом гуляют по высоко огороженному саду, а зимой (согласно рапорту коменданта) «за великими снегами и пройти никому нельзя, да и нужды нет». Все слуги, нанятые для принцев, навсегда заперты в доме и никогда не выйдут за ограду «под опасением жесточайшего истязания».

Заклученным, правда, выдается «приличное довольствие» (все же царская фамилия!) – по шесть тысяч рублей в год, шелковые и шерстяные ткани, венгерское вино, гданская водка (за недостатком которой комендант порою доставляет Антону-Ульриху «поддельную водку из простого вина»).

С 1746 года принцы, по словам Стасова, «попадают в руки пьяного, вороватого, беспутного и жестокого капитана Вындомского...». Назвав это имя, мы угадываем один канал, по которому рассказы, слухи и предания тех лет могли

просачиваться к Пушкину: сыном Вындомского был просвещенный литератор, ученик Новикова и знакомый Радищева Александр Максимович Вындомский (о других его интересах, впрочем, говорит напечатанная двумя изданиями «Записка, каким образом делать французскую водку»). Юный сержант Александр Вындомский в июле 1759 года во главе команды из восемнадцати человек прибыл на подмогу к отцу и видел «холмогорских узников». Он сам не успел побеседовать с Пушкиным, так как умер в 1813 году, но многое могла рассказать дочь этого литератора и внука холмогорского коменданта Прасковья Александровна Вындомская (по первому мужу Осипова, по второму Вульф) – тригорская соседка и добрый друг поэта...

Однако вернемся в 1740-е годы.

Царица Елизавета Петровна и ее окружение больше всего беспокоятся насчет возможных заговоров в пользу «семейства», а также любых слухов о принцах. Когда Анна Леопольдовна умирает, то из Петербурга требуют, чтобы принц Антон сделал собственноручное описание этой смерти: таким образом в руках правительства оказался политический документ, который можно предъявить Европе в случае появления любой «Лжеанны Леопольдовны». Любопытно, что Антону предписывается в том письме не сообщать о рождении сына Алексея, отнявшего жизнь у матери: лишние сведения о новых возможных претендентах на престол царице не нужны. Когда Иоанна VI отделили от родственников и пере-

везли в Шлиссельбург, это никак не отразилось на секретной переписке об «известных персонах», как будто принц оставался в Холмогорах. Так старались обмануть заговорщиков. Малейшее подозрение насчет офицеров охраны сразу ведет к замене: молодой подпоручик Писарев, в пьяном виде грозившийся передвинуть Вындомскому «рот на затылок», тут же переведен в Тобольск... Однажды принц Антон просит у императрицы, чтобы его детей учили читать и писать, ибо «дети растут и ничего не знают о Боге и Слове Божьем». Ответа не последовало; из дальнейшей переписки видно, что отец не умел или не желал систематически обучать пятерых (потом – четверых) детей и они не знали иностранных языков, а говорили только по-русски с северным выговором.

Итак, имевшая на престол не меньше прав, чем брауншвейгские родственники, дочь Петра все же опасается за точённых принцев и принцесс: страшная логика борьбы за власть...

Вот сколь многообразные последствия для разных действующих лиц нашего рассказа имел короткий осенне-зимний день и длинная ночь 25 ноября 1741 года.

25 ноября 1741 года осталось в памяти одних днем надежды на будущую науку и просвещение, в биографии других – днем прощения, возвращения к добрым старым временам; в судьбе третьих – роковым рубежом в борьбе за престол, началом темницы, ссылки, забвения...

Впереди были огорчения – для тех, кто слишком тем днем

доволен, и надежды — для тех, кто в отчаянии...

«1742 год. Января 6-го река Ангара покрылась льдом, а 17 марта вскрылась. В апреле получен указ о возвращении детей казненного Бироном министра Волынского, которые вскоре и отправлены в Россию.

Прибыли в Иркутск освобожденные из ссылки: из Охотска — бывший генерал Антон Девиер и князь Алексей Барятинский, из Камчатки в ноябре — князя Николай, Алексей и Александр Долгорукие. Они в следующем году уехали в Россию. Все эти лица были жертвою известного Бирона. Императрица Елизавета Петровна при вступлении своем на престол ознаменовала начало своего царствования разными милостями и многим невинным — сосланным в различные места Сибири — даровала свободу» (Иркутская летопись).

Собирается в западную сторону и Степан Крашенинников с супругой Степанидой Ивановной. А навстречу им — на восток, на Камчатку — мчится штабс-курьер Шахтуров, с тем чтобы доставить к торжественной коронации Елизаветы Петровны (то есть через полтора года) шесть пригожих, благородных камчатских девиц (если правление женское — весь прекрасный пол империи должен быть представлен в Москве!). Познания царицы о размерах собственной империи были приблизительными: только через шесть лет (и на четыре года позже коронации) царицын посланец с отобранными девицами достиг на обратном пути Иркутска, причем все девицы за это время родили, а для продолжения

пути требовались повышенные средства; дальнейшая судьба этого «каравана» неведома...

## Глава четвертая

### 6 июля 1762 года

«Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось. Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов итти на смерть. Но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя – но, Государыня, свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали, но все до единого виноваты – достойны казни, помилуй меня хоть для брата; повинную тебе принес и разыскивать нечего – прости или прикажи скорее окончить, свет не мил, прогневил тебя и погубили души навек!»

Письмо это, написанное 6 июля 1762 года, не просто секретный – сверхсекретный государственный документ! Императрице Екатерине II сообщают об убийстве ее мужа, Петра III. Записку эту, кажется, видели в подлиннике (не считая ее автора) только три человека, в том числе два царя. Второй – самолично кинул записку в огонь... И все-таки эти страшные строки не исчезли: мы знаем не только их текст, но и то, что они были писаны на листе бумаги «сером и нечистом», знаем, кто писал, хотя подписи не было; знаем, когда писал.

Рукописи действительно не горят...

Но пора все рассказать по порядку.

Елизавета Петровна процарствовала двадцать лет и один месяц. За это время был создан Московский университет и запрещено крестьянам жаловаться на помещиков. Отменена смертная казнь и вырван язык у прелестной княгини Лопухиной, будто бы позволившей себе дерзость против власти.

В эти годы поощрялась торговля, промышленность, но потрачены миллионы на придворные увеселения (15 000 роскошных платьев императрицы – только одна из «статей расхода»).

В елизаветинские годы написал и подготовил к печати свою замечательную *Камчатскую книгу* Степан Петрович Крашенинников – но месяца не дожил, чтоб ее увидеть, скончался на сорок третьем году жизни. Семья крупнейшего ученого осталась в такой бедности, что драматург Александр Сумароков даже написал о том в одной из пьес: «Бесчестной... приехал, так ему стул, да еще в хорошеньком доме: все ли в добром здоровье? какова твоя хозяйюшка? детки? что так запал? ни к нам не жалуешь, ни к себе не зовешь? А честнова-то человека детки пришли милостыни просить, которых отец ездил до Китайчетова царства и был в Камчатном государстве, и об этом государстве написал повесть; однако сказку-то его читают, а детки-то его ходят по миру...»

Итак, елизаветинское царствование – его воспевали Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков и другие поэты.

Но о том времени размышлял и записывал также один совсем не льстивый молодой офицер.

Поскольку ему суждено действовать в нескольких главах нашего повествования, познакомимся с ним сейчас. (Мы как будто отвлеклись от зловещей записки 6 июля 1762 года, но на самом деле это не так!)

За двором и царицей наблюдает юный князь, офицер Семеновского полка Михаил Михайлович Щербатов. Отец молодого князя умер, когда сыну едва исполнилось пять лет. Огромную надпись на его надгробном памятнике в селе Михайловском (близ Ярославля) прочесть нелегко – она на языке старинном, но все же попытаемся понять: «1738 года сентября 26 дня погребен здесь генерал-маюр и Архангельской губернии губернатор князь Михаил Юрьевич Щербатов, который родился во 186 году ноября 8 дня, и по возрасту его 14 лет, в 200 году, взят в комнаты блаженные и вечно достойные памяти его императорского величества Петра Первого, а в 201 году пожалован в порутчики в лейб-гвардии Семеновский полк и был на Воронежских, Азовских походах и под Керчью, а в 1700 году пожалован в оном же полке капитаном и служил оба Нарвские походы под Шлиссенбургом и под Лесным на Левенгубской баталии, и под Гроднею, также и на турецкой акции под Прутом. 1705 мая 5 числа пожалован от инфантерии полковником. И потом был на многих баталиях, а в 1729 году пожалован от его императорского величества Петра II бригадиром и находился при полках. 1731



года апреля 28 числа пожалован при коронации ее императорского величества Анны Иоанновны, за отличие службы, в генерал-маэоры, потом определен в Москве в обер-коменданты, а в 1732 году июля 26 числа по всемилостивейшему ее императорского величества именному указу послан в город Архангельск в губернаторы, и находился там при делах ее императорского величества 6 лет, и во шестое лето преставился в городе же Архангельске сего 1738 года июля 22 числа в 7 часов пополудни 52 минуте, на память святой равноапостольской Марии Магдалины, а тезоименитство его ноября 8 дня. В Нарвских походах ранен с города камнем в грудь, под Шлиссенбургом ранен в правую руку, под Лесным на Левенгубской баталии ранен, обе ноги пробиты навылет. Под Гроднею ранен в правую ногу, на турецкой акции под Прутом ранен в поясницу. Под Выборгом ранен в голову».

Не надгробие, а целая биография, да что там биография – это боевая реляция, летопись, история! Годы сначала идут по старому летосчислению, от «сотворения мира»: 186-й – это 7186-й (или, по-нашему, 1678-й), а 200-й, 201-й – это 7200-й, 7201-й (или 1692-й, 1693-й)<sup>5</sup>; затем – с 1700-го, как приказал царь Петр, идет только новый счет... И сколько же битв, походов, царствований!

И шесть ранений; а дата смерти указана с точностью до

---

<sup>5</sup> Разница между современной системой летосчисления, в которой за начальный момент отсчета годов взято «Рождество Христово», т. е. 1 г. н. э., и старым летосчислением – от «сотворения мира» – равна 5508 годам.

минуты: как увидим – это щербатовская фамильная, историческая точность...

Среди «птенцов гнезда Петрова» преобладали дворяне «худые», часто сомнительные, только что выведенные царем из простонародного состояния. Однако Михаил Юрьевич Щербатов, хоть и ведущий свой род от легендарного князя Рюрика, с четырнадцатилетнего возраста – верный слуга царя-реформатора; и его отец, дед нашего героя, князь Юрий Федорович, сражается, строит вместе с Петром, – и вот уж как будто нам ясен исторический облик семейства: отказ от аристократической спеси, беспрекословная служба престолу...

Но Щербатовы причудливы, скорым характеристикам поддаются худо, все время норовят складный образ *оспорить*.

Дед Юрий Федорович, слуга царев, вдруг постригается в монастырь, делается иноком Софронием и, вдали от мира замаливая грехи, свои и чужие, проживет сто восемь лет.

Внук же Михаил Михайлович, родившийся через восемь лет после кончины Петра, но на десять лет раньше Державина, за двенадцать лет до Фонвизина, тоже кажется вписанным в свою эпоху, свое поколение: бурные, лихие, фантастические дела отцов и дедов – не для него, *позади*; но просвещение, новая мысль, заря XIX столетия – кажется, тоже не для него, *впереди*?

Сначала – все «как у людей»: рано, по обычаю, записан

в Семеновский полк, двадцати трех лет женится, двадцати девяти лет уходит в отставку в приличном чине гвардейского капитана, удаляется в имение, растит детей – и вроде бы *социально ясен...*

Правда, дата его отставки – 29 марта 1762 года, всего через месяц с небольшим после закона о вольности дворянской (18 февраля 1762 года): значит, прошение было подано буквально через несколько дней после знаменитого указа, дававшего дворянину право не служить.

Что за странная торопливость – в расцвете сил, в хорошем чине – уйти хоть и не в монастырь, вслед за дедом, но – от политики, карьеры, не в пример отцу?

Другим несоответствием М. М. Щербатова своему поколению была большая культура, скорее свойственная просвещенному кругу следующих десятилетий; конечно, имелись замечательные эрудиты-собиратели и прежде – например, знаменитый политический деятель Дмитрий Михайлович Голицын, историк Василий Никитич Татищев (старшее поколение) или одноклассник Щербатова поэт Михаил Херасков; но таких людей не много...

Для елизаветинского же времени, да при такой знатности, такой фортуны, как у князя Михайлы Михайловича Щербатова, не совсем обычно иметь тысячи томов на нескольких европейских языках, учиться итальянскому, шведскому, польскому сверх обиходных с детства французского и немецкого; книги же, как видно по их каталогу, богословские,

философские, педагогические, юридические, медицинские, хозяйственные, военные, научные; множество географических, еще больше исторических... Притом владелец библиотеки дополняет ее собственными переводами: стихи Торквато Тассо, сочинения Фенелона, руководства по кулинарии, наставления садоводам...

Такая культура, такая отставка.

Но это лишь первая глава щербатовской биографии. Молодой офицер без одобрения присматривается к роскоши, разврату, упадку нравов в царствование дочери Петра. Позже запишет: «Умалчивая, каким образом было учинено возведение ее на всероссийский престол гренадерскою ротою Преображенского полка и многие другие обстоятельства, приступаю к показанию ее умоначертания. Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра; от природы одарена довольным разумом; но никакого просвещения не имела... с природы веселого нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и недокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания делу... даже и внешние государственные дела, трактаты, по несколько месяцев, за леностию ее подписать имя, у нее лежали; роскошна и любострастна, дающая многую поверенность своим любимцам, но, однако, такова, что всегда над ними власть монаршую сохраняла».

Щербатов чувствовал себя одиноким среди молодых лю-

дей, старающихся урвать от власти новые имения, позолоченные кареты, камзолы, туфли, украшения; прежде, полагает он, люди жили проще, благороднее. Идеализируя времена дедов, князь Щербатов зато уж не дает спуска внукам и внучкам. Он пишет, что «число разных вин уже умножилось и прежде неизвестные шампанское, бургундское и капское стали привозиться и употребляться на столы». В домах вельмож – «невиданная прежде красная мебель, шелковые обои, огромные зеркала. Выезжают в богатых позлащенных каретах с лучшими дорогими лошадьми».

Переходя к модам, Щербатов замечает, что «жены, до того не чувствующие красоты, начали силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными одежаниями и более предков своих распростерли роскошь в украшении. О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен! Я от верных людей слышал, что тогда в Москве была одна только уборщица для волос женских<sup>6</sup>, и ежели к какому празднику когда должны были молодые женщины убираться, тогда случалось, что она за трое суток некоторых убирала и они принуждены были до дня выезду сидя спать, чтобы убору не испортить!»

Можно сказать, что князь-историк наблюдает свое поколение и одно-два предыдущих везде и во всем на службе и в дороге, в имении и при дворе, молящимся и хмельным... Щербатовские же выводы из этих «частностей» печальны

---

<sup>6</sup> То есть парикмахерша.

– расходы царей и дворян растут, личная выгода достигается за счет чести и убеждений: «Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестию и самством наполнилось. Оттуда произошло раболепство, презрение истины, обольщение Государя и прочие злы, которые днесь при дворе царствуют и которые в домах вельможей возгнездились».

Щербатов чувствовал себя одиноким... Как удивился бы он, узнав, что в те же самые годы, когда он служил в гвардии, одна очень важная особа делала почти такие же наблюдения и ее записи, заметки, кажется, не менее горьки.

## СОФИЯ-АВГУСТА-ФРЕДЕРИКА АНГАЛЬТ-ЦЕРБТСКАЯ

Это длинное имя молодая женщина вскоре поменяет на куда более короткое и знаменитое: ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ. Но пока она еще не *вторая*: всего лишь жена наследника, юная немецкая принцесса из весьма крохотного княжества, доставленная в жены единственному племяннику Елизаветы Петровны.

Пятнадцатилетнюю гладко причесанную девочку везут как особую государственную ценность через Германию, Польшу, Прибалтику – в далекую, непонятную северную державу.

В Петербурге Елизавета, а также странный шестнадцатилетний ее племянник Петр (тоже недавно доставленный из

Германии) наблюдают, «экзаменуют» юную девицу на право стать когда-нибудь российской императрицей.

Она же – изучает, тайно экзаменует их, причем в духе своего немецко-французского воспитания записывает впечатления; правда, после в страхе сжигает, но записывает снова...

Царственные особы, случалось, вели дневники, а иногда писали воспоминания. Они, однако, большей частью бессодержательны и представляют интерес лишь как доказательство ограниченности их авторов (Людовик XVI, Николай II). Впрочем, более интересных, откровенных дневников правящие династии опасались: Мария Федоровна, жена Павла I, завещала своему сыну, царю Николаю I, сжечь десятки тетрадей своих записей. Так же были уничтожены дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I.

Сохранились и воспоминания монархов, предназначавшиеся в назидание потомству. Этот род воспоминаний (первый русский образец – «Поучение Владимира Мономаха») всегда содержит интересные сведения, но недостатком его можно считать чрезмерное желание украсить себя и свои дела в ущерб истине. Таковы мемуары Наполеона, записанные на острове Святой Елены, «История моего времени» прусского короля Фридриха II. Записки будущей Екатерины II выгодно отличаются откровенностью – она, разумеется, не всегда искренна, очень украшает себя: но – не успела (по причине, о которой еще речь пойдет!), не успела сгладить, отлакировать... Цель ее записок – оправдаться перед потом-

ством — и ведь было в чем оправдываться! Сразу скажем, что позже Екатерина хранила свои записки рядом с тем самым письмом, с которого началась эта глава: ведь тот «серый, нечистый лист», можно сказать, очень важная потаенная часть воспоминаний *императрицы*, точнее — приложение к ним...

Но пока что мы толкуем о воспоминаниях *принцессы*. Пока что на календаре не 1762-й, а 1744-й. В архангельских снегах томится свергнутое Брауншвейгское семейство — на невских берегах царица Елизавета приглядывается к принцессе Ангальт-Цербтской. Та живет одиноко в своей комнате, обучаясь русскому языку, играя на клавесине и глотая одну книгу за другой. Старый знакомый, шведский граф и дипломат, находит, что у принцессы философский склад ума.

«Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендует мне „Жизнь знаменитых мужей“ Плутарха, „Жизнь Цицерона“ и „Причины величия и упадка Римской республики“ Монтескье. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала, что набросаю ему свой портрет так, как я себя по-



нимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или нет. Действительно, я написала сочинение, которое озаглавила „Портрет философа в пятнадцать лет“, — и отдала ему. Много лет спустя я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиной знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопровождал его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе что обещала, не помню случая, чтоб это не исполнила».

Молодая особа записывает, запоминает: перед нею открывается механизм власти, цепь придворных сплетен, каждая из которых вдруг может стать важным политическим событием — когда из наименования обыкновенного кота Иваном Ивановичем возникает дело об оскорблении фаворита Елизаветы Ивана Ивановича Шувалова; когда фрейлины шепчутся о государственных делах возле задремавшей императрицы и делают вид, что верят ее дремоте, а Елизавета делает вид, что дремлет, — и в этом перекрестном двоедушии фрейлины, получая деньги от заинтересованных лиц, устраивают свадьбы, карьеры, чины.

«После этого спросят меня, — писал французский посол Корберон, — как же управляется эта страна и на чем она держится? Управляется она случаем и держится на естественном равновесии — подобно огромным глыбам, которые сплавивает собственный вес».

Придворная жизнь, какой ее вспоминает Екатерина, подобна причудливой фантазии, где здоровое и безумное смешивается в разных сочетаниях, легко переходя одно в другое: однажды, войдя в комнаты своего супруга, будущего Петра III, Екатерина «поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановки казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значило; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и подлежит строжайшей казни по военным законам: она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле на одном из бастионов, сделанных из крахмала, и он велел судить преступника по законам военного времени; великий князь добавил, что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется, выставленная напоказ публике в течение трех дней для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось: он придавал всему этому большую важность. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, од-

нако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в защиту крысы, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправданий».

А вот другая запись: «Во время пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком: его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка; по мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещая возле Бургава, так что образовалась маленькая придворная больница умалишенных. Я припоминаю, что главным из них был майор гвардии Семеновского полка по фамилии Чаадаев. Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал Господом Богом шаха Надира, иначе Тахмас-Кули-хана, узурпатора Персии и ее тирана. После того как врачи не смогли излечить Чаадаева от этой мании, его поручили попам; эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде, но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был. Нашлись, однако, люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем, кроме шаха Надира. Его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы; те, кто не считали его сумасшедшим, приводили как причину этой

притворной мании одно грязное дело, от которого он отделался этой хитростью; с начала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию, его обвинили во взятках, и он подлежал суду. Из боязни суда он и забрал себе эту фантазию, которая его и выручила».

В это же время, по приказу Елизаветы Петровны, мать Екатерины была выслана из России, и дочь вынуждена прибегнуть к «нелегальной переписке».

«Около этого времени приехал в Россию кавалер Сакромозо. Уже давно не приезжало в Россию мальтийских кавалеров, и вообще тогда было немного иностранцев, посещающих Петербург... Он был нам представлен; целуя мою руку, Сакромозо сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: Это от вашей матери. Я почти что остолбене-ла от страха перед тем, что он только что сделал. Я замирала от боязни, как бы кто-нибудь этого не заметил... Однако я взяла записку и спрятала ее в перчатку; никто ничего не заметил. Вернувшись к себе в комнату, в этой свернутой записке (в которой он говорил мне, что ждет ответа через одного итальянского музыканта, приходившего на концерты великого князя) я, действительно, нашла записку от матери, которая, будучи встревожена моим невольным молчанием, спрашивала об его причине и хотела знать, в каком положении я нахожусь. Я ответила матери и уведомила ее о том, что она хотела знать; я сказала ей, что мне было запрещено писать ей и кому бы то ни было, под предлогом, что русской вели-

кой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в Коллегии иностранных дел и под которыми я должна была только выставить свою подпись, и никогда не говорить, о чем надо писать, ибо коллегия знала лучше меня, что следовало в них сказать... Я свернула свою записку, как была свернута та, которую я получила, и выжидала с тревогой и нетерпением ту минуту, чтобы от нее отделаться. На первом концерте, который был у великого князя, я обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста д'Ололио, того человека, на которого мне указали. Когда он увидел, что я остановилась за его стулом, он сделал вид, что вынимает из кармана носовой платок, и таким образом широко открыл карман; я сунула туда как ни в чем не бывало свою записку и отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался».

Пройдет сто лет, и Герцен так «перескажет» некоторые страницы из жизни принцессы:

«Ее положение в Петербурге было ужасно. С одной стороны, ее мать, сварливая немка, ворчливая, алчная, мелочная, педантичная, награждавшая ее пощечинами и отбиравшая у нее новые платья, чтобы присвоить их себе; с другой – императрица Елизавета, бой-баба, крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая, заставлявшая следить за каждым шагом молодой великой княгини, передавать каждое ее слово, исполненная подозрений – и все это после того, как дала ей в мужа самого нелепого олуха своего времени.

Узница в своем дворце, Екатерина ничего не смеет делать без разрешения. Если она оплакивает смерть своего отца, императрица посылает ей сказать, что довольно плакать, что „ее отец не был королем, чтоб оплакивать его более недели“. Если она проявляет дружеское чувство к какой-нибудь фрейлине, приставленной к ней, она может быть уверена, что фрейлину эту отстранят. Если она привязывается к какому-нибудь преданному слуге – все основания думать, что того выгонят.

Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщины, их начинают систематически развращать».

Добавим, что при этом она каждую минуту может быть изгнана или, того хуже, попасть в «брауншвейгское положение». Герцен замечает и другое:

«Светловолосая, резвая невеста малолетнего идиота – великого князя, – она уже охвачена тоской по Зимнему дворцу, жаждой власти. Однажды, когда она сидела вместе с великим князем на подоконнике и шутила с ним, она вдруг видит, как входит граф Лесток, который говорит ей: „Укладывайте ваши вещи – вы возвращаетесь в Германию“. Молодой идиот, казалось, не слишком-то огорчился возможностью разлуки. „И для меня это было довольно-таки безразлично, – говорит маленькая немка, – но далеко не безразличной была для меня русская корона“, – прибавляет великая княгиня. Вот вам будущая Екатерина 1762 года!

Мечтать о короне в атмосфере императорского дворца, впрочем, было вполне естественно не только для невесты наследника престола, но и для каждого. Конюх Бирон, певчий Разумовский, князь Долгорукий, плебей Меншиков, олигарх Волынский – все стремились урвать себе лоскут императорской мантии...»

## **ВСЕГО ПОЛГОДА...**

Елизавета при смерти – кому достанется царство? Официальный, по всей стране объявленный наследник Петр III, конечно, имеет права: племянник царицы, внук Петра I. Но неглупая, хотя и взбалмошная, необразованная Елизавета с каждым днем все больше понимает, что племянник слаб, глуп, играет в солдатиков, вешает крыс, опирается не столько на русское дворянство, сколько на друзей, собутыльников из немецкого княжества Голштинии: там родился, откуда приехал в Россию...

Петр III не годится – но кому же престол? Умирающая царица меняет один план за другим: не объявить ли царем семилетнего Павла Петровича, сына Петра III и Екатерины? Но ясно, что кто-то станет регентом, будет править за малолетнего. Кто же?

Мелькнула даже идея – вернуть Ивана VI, который с роковой ночи 25 ноября 1741 года находится под строжайшей охраной, давно отделен от братьев, сестер, отца и помещен

в Шлиссельбург. Но тот несчастный принц как будто неизлечимо болен, сознание замутнено, да и опасно возвращать из ссылки Брауншвейгских: начнут мстить, прольется кровь...

Среди проектов была идея возвести на трон умную и энергичную жену наследника, Екатерину II.

В любом случае народ, понятно, никто не спрашивал, и в бешеной схватке за власть он в расчет не принимался.

«Зимний дворец, – продолжал Герцен, – с его административной и военной машиной представлял собой особый мир... Подобно кораблю, держащемуся на поверхности, он вступал в прямые сношения с обитателями океана, лишь поедая их. То было государство для государства. Устроенное на немецкий манер, оно навязало себя народу, как завоеватель. В этой чудовищной казарме, в этой необъятной канцелярии царило напряженное оцепенение, как в военном лагере. Одни отдавали и передавали приказы, другие молча повиновались. В одном лишь месте человеческие страсти то и дело вырывались наружу, трепетные, бурные, и этим местом в Зимнем дворце был семейный очаг – не нации, а государства. За тройной цепью часовых, в этих тяжеломерно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь, со своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались судьбы России, во мраке алькова, среди оргий – по ту сторону от доносчиков и полиции...»

25 декабря 1761 года окончилось елизаветинское время. Поскольку никакого ясного решения умиравшая объявить



не успела, императором, естественно, становится Петр III, а Екатерина *императрицей*, но пока лишь женою императора.

Всего полгода продлится это царствование. Даже короноваться внук Петра Великого не успел. Он, правда, издал, точнее, подписал важный закон, о котором давно мечтало «благородное сословие». 18 февраля 1762 года была объявлена «Вольность дворянская», до того дворянин был обязан служить в армии или на гражданской службе. Теперь волен, может служить, может в отставку выйти, когда захочет, в свою деревню удалиться. Может. Многие может: обращаться прямо к царю, ездить когда угодно за границу, владеть крепостными... Зато не может быть бит ни кнутом, ни плетью (как прежде частенько бывало)! Слух о Вольности разнесся по стране, крестьяне верили, будто за дворянскою обязательно последует крестьянская свобода; и, как печально заметил знаменитый русский историк Ключевский, мужики действительно получили вольность, *на следующий день* после 18 февраля, «дворянского дня»; на следующий день, *19 февраля*, да только... через 99 лет: крепостное право будет отменено в стране 19 февраля 1861 года!

В 1762 же году свободу, гражданские права получила небольшая часть – один-два процента населения...

Сразу скажем, что от дворянской вольности заныли спины у мужиков; баре, охотно возвращавшиеся в свои поместья, стали больше требовать и круче карать...

Но все же, впервые в русской истории, закон запрещал пороть хотя бы какую-то часть населения. Прежде, при Иване Грозном, Петре Великом, при Бироне, разумеется, знатные господа били, мучили низших, но очень часто и им «перепали» кнут, дыба.

«Освобождение дворянства»... Тут настало время сказать, что прямо из старинных, жестоких времен не могли бы явиться люди с тем личным достоинством и честью, что мы привыкли видеть у Пушкина, у декабристов... Для того чтобы появились такие люди, понадобится по меньшей мере два «непоротых поколения»... Начиная с 1762 года.

Одним из первых *поступков* «освобожденного» дворянства было, однако, свержение... самого освободителя, Петра III. Вольность устраивала лихих гвардейцев, но такой царь и такой двор никак не устраивали.

Заговор зреет быстро; братья Орловы, Разумовский, Панин и другие влиятельные лица желают видеть на престоле Екатерину; императрица ненавидит и презирает мужа, мечтает о троне, не скупится на обещания: что немцы-голлштинцы будут удалены, что дворянские вольности сохранятся и расширятся, что еще тысячи крепостных душ будут пожалованы. Кое-кому из наиболее несговорчивых дается даже обещание, что царем будет не она, Екатерина, а маленький Павел – правнук Петра Великого...

## К 6 ИЮЛЯ

Любой историк знает странно звучащее для непосвященного сочетание букв – ЦГАДА. Это – Центральный государственный архив древних актов, одно из самых крупных рукописных собраний страны. Здесь хранятся многие государственные бумаги старой России...

Однажды автор этих строк, сам не ведая почему, заказал одно дело из царских «секретных пакетов», хотя хорошо понимал, что все или почти все подобные документы были изучены и в разное время опубликованы многими поколениями исследователей. Дело значилось под условным шифром – разряд I, № 25.

Когда документы приносят, я, не удержавшись, подзываю работающего за соседним столом знакомого профессора; тот – еще одного, еще... Произошло небольшое «толковище», явно не предусмотренное строгими архивными правилами. Дело в том, что коллеги, разумеется, знали текст этих документов, но, как и я, никогда их не видели в рукописном подлиннике: зачем тревожить рукописи, если они напечатаны в солидных научных изданиях?

Но, разглядев в тот день «дело № 25», все специалисты признали, что увидеть *подлинник* и прочесть его в «типографском виде» – вещи очень разные!

В самом деле – вот три записочки Петра III своей су-

пруге; последние дни июня 1762 года, Петербург захвачен сторонниками царицы, положение Петра безнадежное, он пал духом и, собственно говоря, молит о пощаде: возможно, пишет, положив лист бумаги на какой-нибудь барабан, – и подписывает униженным «votre humble valet» (преданный Вам лакей) вместо «serviteur» (слуга).

«Ее величество может быть уверена, что я не буду ни помышлять, ни делать что-либо против ее особы и ее правления» (по-французски).

По-русски: «Я еще прошу меня, Ваша воля исполная во всем, отпустить меня в чужей край».

Круглый, детский, старательный почерк, малограмотный лепет о пощаде – видеть все это страшно и жалко. Ни одна из просьб побежденного уважена не будет. Екатерина и ее люди знают *закон власти*: униженный, раздавленный Петр III, если его отпустить в Европу, чего доброго, вернется с армией, найдет сторонников в России – он все же внук Петра Великого, а кто такая Екатерина – мелкая немецкая принцесса, восставшая против законного супруга!

Нет, Петра не отпустят; но, кажется, можно сохранить жизнь, запереть в Шлиссельбург, рядом с Иваном Антоновичем, или – в Холмогорах, с остальными *Брауншвейгскими*...

Да, Елизавета Петровна 25 ноября 1741 года не стала убивать соперников, но она ведь дочь Петра I, ее права на власть куда больше, чем у Екатерины.

О Шлиссельбурге говорят, говорят. Но пока что сдавшего-

ся Петра запирают в крепко охраняемом доме в Ропше, близ Ораниенбаума. Петр безропотно подписывает отречение от престола, а Сенат, высшие сановники, торжественно провозглашает императрицу Екатерину II. Петр ожидает в Ропше, куда кинет судьба – в родную ли Голштинию, в Шлиссельбург?

Но в том «секретном досье» Екатерины не только записочки ее мужа: рядом – дикие, странные, развязные строки; пьяным, качающимся почерком пишет Алексей Орлов, который, вместе с братом Григорием, душа, мускульная сила переворота; два веселых гиганта, способных уложить кулачным ударом быка, два бешеных кутилы, драчуны, красавцы, кумиры гвардейской молодежи.

О любви, близости принцессы, теперь императрицы Екатерины, и старшего Орлова, Григория, в столице знают все; Гриша расположился во дворце как хозяин – приказывает, назначает, смещает, советует: большинство видит в нем первого министра; некоторые даже мужа императрицы (тут заметим, что Екатерина и Орлов в самом деле думали объявить о своем браке, но не решились: влиятельнейший сановник Никита Панин на вопрос Екатерины, как бы он отнесся к ее свадьбе с Григорием Орловым, отвечал: «Приказание императрицы для нас закон, но кто же станет повиноваться графине Орловой?» Гвардейские «лидеры» намекнули, что не потерпят столь сильного возвышения особы «не царственной», и грозили Грише расправой).

Итак, фаворит Григорий Орлов – во дворце, Алексей же Орлов с князем Барятинским и несколькими другими особо доверенными лицами сторожит в Ропше главного пленника, Петра III.

И вот другая записка: все из того же «дела № 25»:

«Матушка милостивая государыня; здравствовать Вам мы все желаем... Урод наш очень занемог... Как бы сего дня или ночью не умер». Записка, пахнущая убийством. Урод, понятно, Петр III. «Урод как бы не умер»: вроде бы Екатерину подготавливают к новости, официально скорбной, но сколь же вожденной!

Орлов с компанией угадывает мечту «матушки» – ах, если б кто-нибудь избавил от уroda. Скажем больше: матушка могла и намекнуть невзначай.

Предположим еще больше – не написана ли записочка задним числом, чтобы на будущее снять подозрение с царицы?

Это, конечно, гипотеза, предположение, но при взгляде на те листки из «дела № 25» любая жуткая версия покажется вероятной: секретные бумаги отдают зверством, уголовщиной – и обращение Орлова, и, повторяем, пьяный его почерк, и то, что подпись на листке вырвана: это уж постаралась сама матушка, чтобы не было слишком явного следа – уголовщины, убийства...

Где же «философ в 15 лет», умная, дельная девушка, набрасывавшая портрет своей души?

Власть, запахло реальной властью!

Наконец, рядом с пятью записочками легла шестая, окончательная, которой в этой папке, в «деле № 25», нет.

И мы точно знаем, с какого дня нет: с 11 ноября 1796 года...

И мы точно знаем, что она была писана на таком же сером, нечистом листе, как и «записочка № 5», и тем же прыгающим, пьяным почерком Алексея Орлова.

И точно знаем, что было написано (вспомним начало этой главы): «Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось... Свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали... Помилуй меня хоть для брата».

Так делались дела летними днями и белыми ночами 1762 года. 6 июля главная угроза екатерининскому самовластию уничтожена.

Рассказ о том дне окончен, но обязательно требует «послесловия».

Воцарение Петра III, а затем Екатерины II рождает надежды на освобождение несчастных холмогорских узников (после двадцатилетней изоляции!). Принц Антон-Ульрих пишет Екатерине II, называя себя «пылью и прахом», и снова, как прежде в письмах Елизавете, ходатайствует, чтобы дети могли «чему-нибудь учиться».

Екатерина II отвечает, и текст ее послания сохранился в черновой рукописи Стасова: «Вашей светлости письмо, мне поданное на сих днях (писала царица Антону), напомянуло ту жалость, которую я всегда о вас и вашей фамилии имела. Я знаю, что Бог нас наипаче определил страдание человеческое не токмо облегчить, но и благополучно способствовать, к чему я особливо (не похвалившись перед всем светом) природною мою склонность имею. Но избавление ваше соединено еще с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут. Дайте мне время рассмотреть оные, а между тем я буду стараться облегчить ваше заключение моим об вас попечением и помогать детям вашим, оставшимся на свете, в познании Закона Божия, от которого им и настоящее их бедствие сноснее будет. Не отчаивайтесь о моей к вам милости, с которой я пребываю».

В руках царицы в это время уже был ответ на недавний секретный запрос: «Знают ли молодые принцы, кто они таковы, и каким образом о себе рассуждают?» Надежда, что четверо взрослых детей не знают, «кто они» (и, стало быть, и мечтать не могут о русском троне), была, конечно, рассеяна отчетом коменданта: «Поскольку живут означенные персоны в одних покоях и нет меж ними сеней, только двери, то молодым не зная им о себе, кто они таковы, невозможно, и все по обычаю называют их принцами и принцессами».

В этих-то политических обстоятельствах приказано ехать в Холмогоры генерал-майору Александру Ильичу Бибикову.



Этой поездкой семьдесят лет спустя очень заинтересовался неутомимый Пушкин. Вот что записал поэт: «Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила. В начале ее царствования был он послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров. Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину (что весьма не понравилось государыне)...»

Любопытнейшая запись! Генерал-майору Александру Ильичу Бибикову в 1762 году было тридцать три года, но он имел уже немалый жизненный опыт: толковый инженер, артиллерист, деятельный участник Семилетней войны, где отличился в ряде сражений. Заслуженные награды были, однако, задержаны из-за нерасположения сильных сановников, из-за «чувства ревности» со стороны П. А. Румянцева. С восшествием на престол Екатерины II дела Бибикова поправляются. При коронации он получает орден Св. Анны и задание чрезвычайной государственной важности – то самое, которое привлекло внимание Пушкина. Но прежде чем пуститься за Бибиковым в Холмогоры, отметим расчетливую хитрость Екатерины II, которая в это время главный надзор за Брауншвейгским семейством поручила Никите Панину, воспитателю маленького наследника Павла. Именно к партии Панина – Павла принадлежал и Бибиков. Не очень доверяя этим людям, как сторонникам ее «нелюбезного сына», царица хорошо понимала, что, поскольку они делают ставку

на Павла, тем более усердно они будут пресекать любую интригу в пользу других, «брауншвейгских претендентов».

Цель тайных переговоров Бибикова была представлена в секретной инструкции из девяти пунктов, подписанной Екатериной II 10 ноября 1762 года. Смысл бумаги – что Александру Ильичу велено отправиться в Холмогоры и, пробыв там сколько нужно, осмотреть «содержание (принцев), все нынешнее состояние, то есть: дом, пищу и чем они время провождают, и ежели придумае к их лучшему житью и безнужному в чем-либо содержанию, то нам объявить, возвратясь, имеете». Однако главная задача Бибикова заключалась в том, чтобы уговорить принца Антона-Ульриха принять освобождение и уехать одному, «а детей его для тех же государственных резонов, которые он, по благоразумию своему, понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли».

В переводе с «гладкого» языка инструкции это означало, что захватившая престол Екатерина II опасается тех, кто, несомненно, имеет на него больше прав: прямых потомков Ивана V, правнучатых племянников и племянниц Петра Великого (и имена их фамильные – Иван, Петр, Алексей, Екатерина, Елизавета!). Принц Антон не опасен – он имеет не больше прав, чем сама Екатерина II; он не потомок законных царей, а только супруг. Екатерина наставляла Бибикова

«особливо примечать... детей нравы и понятия».

Царица, впрочем, серьезно не надеялась, что отец бросит детей, и много лет спустя сын Бибикова вот что напишет в своих воспоминаниях: «Главнейшая цель сделанного Александру Ильичу препоручения состояла в том, чтоб, вошед в доверенность принца и детей его, узнал способности, мнения каждого, о чем при начале еще не утвержденного ее правления нужно было иметь сведения. Откровенность, веселый нрав и ловкое обращение уполномоченного доставили ему в сем совершенный успех. Но все усилия его склонить принца Антона разлучиться с детьми были напрасны, а потому Александр Ильич старался по крайней мере смягчить, даже некоторым образом усладить его состояние. Хотя все сие и действительно предписано в данной ему от человеколюбивой государыни инструкции, но особенная ревность его в исполнении сей статьи была такова, что отправился в обратный путь благословляем и осыпан живейшими знаками уважения и самой приязни от всех принцев и принцесс».

Бибиков пробыл в Холмогорах несколько недель. Сын его сообщал, что, «приехав в столицу, Александр Ильич изъяснил к состоянию их искреннее участие: он подал императрице донесение о их добрых свойствах, а особливо о разуме и дарованиях принцессы Екатерины, достоинства коей описал так, что государыня холодностию приема дала почувствовать Александру Ильичу, что сие его к ним усердие было, по мнению ее, излишнее и ей неприятное. Холодность

сию изъявила она столько, что он испросил позволения употребить неблагоприятствующее для него время на исправление домашних его обстоятельств и уехал с семьей своею в небольшую свою вотчину в Рязанской губернии».

Любопытнейший текст, основанный, очевидно, на семейных рассказах. Пушкин же, передавая эти факты Николаю I, дополняет и усиливает: «Бибиков возвратился, влюбленный без памяти в принцессу Екатерину».

Поэт, несомненно, пользовался какими-то устными рассказами или неизвестными нам бумагами. Сенатор Биби́ков-младший, знавший, конечно, об отце неизмеримо больше, чем включил в «Записки», скончался еще в 1822 году; Пушкин, однако, имел возможность опросить других потомков екатерининского генерала: Елизавета Михайловна Хитрово, близкий друг поэта, была племянницей А. И. Биби́кова (ее мать, Екатерина Ильинична, урожденная Биби́кова, была женой полководца М. И. Кутузова). Кроме родственников, сведения и предания о Биби́кове могли передать поэту и такие информированные собеседники, как П. А. Вяземский, И. А. Крылов, И. И. Дмитриев и другие.

Теперь возвратимся к пушкинским строкам о генерале, «влюбленном без памяти» в узницу-принцессу. Они насыщены романтикой, драматизмом.

В самом деле, посланец царицы смел, прямодушен, и это его качество Пушкин отметит еще не раз. Биби́ков мог бы, конечно, продвинуться по службе, если бы вел себя осторож-

нее, написал бы в отчете то, чего Екатерина II желала, если бы подыграл ее тайным помыслам. Однако, судя по всему, он слишком горячо вступился за несчастных узников и тем вторгся в запретную политическую область. В. В. Стасов же смело замечает по этому поводу: «Несмотря на все заверения и человеколюбивые фразы, императрица Екатерина II на самом деле нисколько не заботилась и ничуть не помышляла об облегчении участи Брауншвейгского семейства и доставлении ему каких-нибудь других утешений, кроме возможности носить штофные робронды и пить венгерское вино». Напомним, что это пишется для царского чтения, для Александра II!

На дистанции семидесяти с лишним лет ни Пушкин, ни потомки Бибикова, конечно, уже не различали многих подробностей. Однако предание о чувстве к принцессе сохранилось. Доказательство тому и несомненный факт опалы Бибикова, продлившейся около года. Потом, как отмечалось Пушкиным, императрица «уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила».

Донесение генерала, о котором упоминает его сын, конечно, существовало в письменном виде, но не сохранилось даже среди секретнейших бумаг об «известном семействе». Не значится оно и среди солидного комплекса писем и депеш, полученных царицей в разные годы. Это обстоятельство (отмеченное еще Стасовым) само по себе говорит о стремлении царицы скрыть, уничтожить «ненужный» документ, выдви-

гающий на передний план другую «привлекательную персону» царских кровей.

Что же была это за персона? Пушкин вслед за книгой о Бибикове и семейными преданиями называет принцессу Ека-терину.

Конечно, «любовь зла», и Бибиков мог влюбиться в де-вушку, о которой всего за полгода до того говорилось (в до-кладе коменданта от 8 мая 1762 года), что она «сложения больного и почти чахоточного, а притом несколько и глуха, и говорит немо и невнятно, и одержима всегда болезненны-ми припадками, нрава очень тихого». В то же время Биби-ков-сын утверждает, что его отец доносил императрице «о разуме и дарованиях» принцессы. Разнообразные же источ-ники постоянно отмечают ум и красоту другой – младшей принцессы, Елизаветы. В только что цитированной записке коменданта от 8 мая 1762 года сообщается, что девятнадца-тилетняя Елизавета «росту женского немало и сложения ныне становится плавного, нраву, как разумеется, несколько горячего...». Пять лет спустя, в 1767 году, архангельский гу-бернатор доносит: «Дочери (принца Антона) бóльшая, Ека-терина, весьма косноязычна и глуха, зачем и ни в какие раз-говоры не вступает, а притом, как лекарь мне объявил, что и больна гастрическими припадками... а меньшая, Елиза-вета, как и меньший сын Алексей, наиболее понятливы». Сверх того Стасов цитирует английскую записку о Браун-швейгском семействе (составленную в 1780 году и хранящу-

юся в Британском музее), где отмечается, что одна из принцесс «очень хороша собою».

Итак, скорее – Елизавета.

Образ прекрасной принцессы превращал XVIII столетие в мир старинной сказки, где юная красавица ждет избавителя, а злобная колдунья тому препятствует...

Мы уверенно предполагаем разнообразнейшие чувства, мысли, ассоциации Пушкина, сопутствующие его трем фразам о холмогорском путешествии Бибикова: здесь и природа власти, и трагедия детей, виновных только в том, что родились в царской семье (как Федор и Ксения Годуновы).

Невозможно, немислимо представить, чтобы поэт, заметивший, как Бибиков «без памяти влюблен» при выполнении секретнейшей политической акции, не задал вопроса себе и другим: а что же дальше было?

Судьба Бибикова до самой его кончины представлена в «Истории Пугачева» (об этом еще скажем после). Сочувствие Пушкина к этому деятелю, доходящее до идеализации, несомненно. Нам, конечно, нелегко определить, что именно знал поэт из потрясающей «шекспировской» хроники о жизни холмогорских узников после 1762 года, что он мог слышать, предположить, вообразить.

Но стасовская рукопись 1860-х годов как бы отвечает на вопросы, занимавшие Пушкина тридцатью годами раньше.

После отъезда Бибикова положение «известных персон», в сущности, ухудшается. В предыдущие двадцать лет не было

никаких перспектив на улучшение, теперь же Екатерина II подала узникам большие надежды. Меж тем секретность их содержания даже увеличивается. На всякий случай пишутся инструкции, как хоронить «любого умершего из семьи»: пастора не присылать, отпевать ночью, «на молитвах и возгласах в церкви никак их не поминать, как просто именем, не называя принцами». Когда понадобилось переделать печи в холмогорском доме-тюрьме, Петербург строго предписывал, «чтоб печники известных персон не видали».

И вот – 1764 год: попытка офицера Мировича освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича. Дело кончается гибелью бывшего императора на двадцать пятом году жизни (а ведь попал в заключение полуторагодовалым).

Мирович казнен. В Холмогорах же, вероятно, очень долго и не знали о гибели сына и брата! Императрица Екатерина II теперь почти успокаивается... Два императора, правившие совсем недолго, – Петр III, Иван VI – уничтожены; однако полного спокойствия быть не могло. После 1764 года шансы холмогорских принцев на освобождение сильно уменьшаются; время от времени архангельские власти получают из столицы предупреждения и даже приметы «заговорщиков», якобы направляющихся на север...

Герцен сто лет спустя переведет депешу французского посла Беранже о воцарении Екатерины II: «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны,



как внук Петра I (Петр III) был свергнут с престола и потом убит; с другой – как внук царя Иоанна (Иван Антонович) увязает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!»

Народ же не разбирался в династических тонкостях, но разбирался в собственной жизни – и от «спокойного обдумывания» был готов перейти к беспокойным действиям...

# Глава пятая

## 29 сентября 1773 года

### СВАДЬБА

29 сентября 1773 года по случаю бракосочетания девятнадцатилетнего великого князя Павла Петровича (будущего Павла I) императрица Екатерина II жалует графу Никите Ивановичу Панину, воспитателю наследника, «звание первого класса в ранге фельдмаршала, с жалованьем и столовыми деньгами;

4512 душ в Смоленской губернии;

3900 душ в Псковской губернии;

сто тысяч рублей на заведение дома;

серебряный сервиз в 50 тысяч рублей;

25 тысяч рублей ежегодной пенсии, сверх получаемых им 5 тысяч рублей;

ежегодное жалованье по 14 тысяч рублей;

любой дом в Петербурге;

провизии и вина на целый год;

экипаж и ливреи придворные».

Трудно представить, что эти подарки, что эти фантастические ценности – форма *немилости*, желание откупиться,

намек на то, чтобы одариваемый не вмешивался не в свои дела.

Присмотримся внимательнее к самому жениху и его воспитателю.

Полтора века в архиве Министерства юстиции лежал секретный, запечатанный пакет, открыв который специалисты нашли нечто совсем непохожее на секретные бумаги о Петре III: это дневник на французском языке, который юный Павел начал вести за три-четыре месяца до свадьбы.

*«Вторник, 11 июня 1773 года. Утром: Все эти дни я живо беспокоился, хотя чувствовал и радость, но радость, смешанную с беспокойством и неловкостью при мысли о том, чего мы ожидали. Во мне боролись постоянно, с одной стороны, нерешительность по поводу выбора вообще, и с другой, — мысль о всем хорошем, что мне говорили про всех трех принцесс — в особенности про мою супругу, — и, наконец, волновала меня мысль о необходимости жениться из-за моего положения. У меня не было других мыслей ни днем, ни ночью, и всякая другая мысль мне казалась сухой и скучной. Как я вознагражден за свое беспокойство, гораздо больше, чем я заслужил, оттого, что я имею счастье знать эту божественную и обожаемую женщину, которая доставляет мне счастье и которая есть и будет всю жизнь моей подругой, источником блаженства в настоящем и будущем».*

Дело в том, что к Петербургу приближается ландграфиня Гессенская с тремя дочерьми; в принципе женою наследника

уже выбрана одна из них, Вильгельмина, но все же возможна «замена», если матери жениха, Екатерине II, вдруг не понравится невеста.

*«Среда 12 июля.* Мне кажется, что последние дни, до приезда ландграфини, я в серьезных делах, как и в пустяках, действовал только под влиянием их прибытия, и я себе много прощал, говоря себе, что все изменится с приездом их и что мало времени осталось. Я постоянно считал, сколько часов еще придется ждать...

*Пятница 14-го.* Утром: После обеда мы отправились ко второму лесному домику и там слезли с лошадей. Остервальд, Вадковский, я и Дюфур пошли пешком в одну деревушку искать молока... Мы привезли из деревни молока, хлеба и т. д. Мы было уже взялись за еду, как некоторые из нас заметили, что это, быть может, последняя закуска нашего кружка. Мы все опечалились, так как уже больше десяти лет привыкли быть вместе...

*Суббота 15-го:* день на всю жизнь памятный – тот день, в который я имел счастье в первый раз лицезреть ту, которая мне заменяет все. Этот день мне достаточно памятен, чтобы ничего не пропустить, даже ни малейших подробностей. Я встал в обычный час, не вышел из своих покоев и сейчас начал одеваться. Меня причесывали, и я думал только об одном, что меня всецело занимало, когда вдруг постучали в дверь. Я велел отпереть. Это была моя мать. Она мне сказала: „Что Вы желаете, чтобы я от Вас передала принцессам?“

Я ответил, что я полагаюсь даже в этом на нее...

Я спустился к графу Панину, где постепенно начали собираться все наши и те, которые должны были меня провожать. Бесконечные волнения все усиливались по мере того, как время отъезда наступало. Кареты были поданы, и мы заняли нашу...

Проехав Гатчинские ворота, мы заметили, что издали поднялась пыль, и думали, что вот уже императрица; каково же было наше удивление, когда мы увидели телегу с сеном. Через некоторое время пыль снова поднялась, и мы более не сомневались, что это едет императрица с остальными. Когда кареты были уже близко, мы велели остановить свою и вышли. Я сделал несколько шагов по направлению к их остановившейся карете. Из нее начали выходить. Первая вышла императрица, вторая ландграфиня. Императрица представила меня ландграфине следующими словами: „Вот ландграфиня Гессен-Дармштадтская и вот принцессы – ее дочери“. При этом она называла каждую по имени. Я отрекомендовался милости ландграфини и не нашел слов для принцесс...

Я удалился тотчас после ужина и первым делом отправился к графу Панину узнать, как я себя вел и доволен ли он мною. Он сказал, что доволен мною, и я был в восторге. Несмотря на свою усталость, я все ходил по моей комнате, насвистывая и вспоминая виденное и слышанное. В этот момент мой выбор почти уже остановился на принцессе Вильгельмине, которая мне больше всех нравилась, и всю ночь я

ее видел во сне. Вот конец этого для нас достопримечательного дня...»

Автор дневника – робкий, чистый, сентиментальный молодой человек, как будто совсем непохожий на того будущего императора Павла I, которым он станет через двадцать три года...

Матушка, Екатерина II, царствует уже одиннадцать лет, и ей смешны распространившиеся в народе и даже во дворце слухи, будто после женитьбы наследника она передаст ему царство; разумеется, у Павла, правнука Петра Великого, прав на престол неизмеримо больше, чем у нее, но Петр III и Иван VI были сметены с пути вовсе не для благородного материнского самопожертвования!

И тем более опасен, подозрителен граф Панин, которого наследник столь чтит и уважает...

Никита Иванович Панин, дважды «мимолетно» появлявшийся в нашем повествовании, теперь вступает в него важно и основательно.

Покойный Петр III ненавидел и не без основания боялся Панина, но за три месяца до своей гибели пожаловал ему чин действительного тайного советника, а еще через месяц – высший орден, Святого Андрея Первозванного: чем больше Панина не любят, тем больше награждают...

Через несколько недель после возведения Екатерины II на престол он поднес ей давно продуманный проект, где довольно живыми красками были изображены «временщики, кур-

тизаны и ласкатели», сделавшие из государства «гнездо своим прихотям», где «каждый по произволу и по кредиту интриг хватал и присваивал себе государственные дела» и где «лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство, распутство в имениях и в сердцах».

Исправить положение, по мнению воспитателя наследника, можно ограничением самодержавия, контролем за императорской властью со стороны особого органа – императорского совета из шести – восьми человек, а также Сената.

К концу августа 1762 года, казалось, вот-вот могла бы осуществиться реформа государственного управления: сохранилась рукопись манифеста, где только что возвращенный из ссылки канцлер А. П. Бестужев именуется «первым членом вновь учреждаемого при дворе императорского совета». Однако 31 августа в *печатном* тексте манифеста этих строк уже нет.

При дворе многие увидели в панинском совете-сенате ограничение самовластия в пользу немногих аристократов и нашли это невыгодным. О сложной придворной борьбе за каждую букву первой панинской конституции говорит то обстоятельство, что манифест об императорском совете был подписан царицей лишь через четыре месяца – 28 декабря 1762 года. Но затем бумага была надорвана, то есть не вступила в силу.

Проект Панина похоронили. Лишь через шестьдесят четыре года, 14 ноября 1826 года, недавно осудивший декаб-

ристов Николай I обнаружил этот документ среди секретных бумаг, прочитал и велел снова припрятать. В руки историков проект попадет еще через полвека, в 1870-х годах.

Итак, затея Панина – ограничить самодержавие – провалилась; Екатерина его не любит, он явно принадлежит к тем, кто хочет скорее увидеть на престоле юного Павла. Казалось бы, судьба этого государственного человека ясна: его ждет отставка, опала, ссылка. Но нет! Времена переменялись... При Анне Иоанновне, Елизавете Петровне каждое неудовольствие монарха, каждая перемена «наверху» были похожи на взрыв, переворот, пахли пыткой и кровью. Однако русское дворянство за эти десятилетия все-таки «надышалось» просвещением; оно хочет больших гарантий, большего спокойствия. Екатерина II это понимает и действует много тоньше всех своих предшественников. Вот, к примеру, ее обхождение с гордым и независимым князем Михаилом Щербатовым, который (как, вероятно, помнят читатели) сразу же воспользовался законом о вольности дворянской и ушел в отставку через месяц после его объявления...

Возможно, правление Петра III не подходило молодому князю, но воцарение Екатерины II (28 июня все того же 1762 года) нисколько ведь не переменяло щербатовских намерений! По разным источникам мы знаем, что ему сильно не понравился тот способ, которым просвещенная царица устранила своего непросвещенного супруга.

Проходит несколько лет, и в 1767 году российские со-



словия выбирали депутатов в Комиссию по составлению нового уложения. Выглядело это почти конституцией, напоминая старинные земские соборы: императрица приглашает выбранных «от всей земли» в Москву, знакомится с их взглядами, требованиями...

Спустя несколько месяцев депутаты были, правда, отосланы домой, до перестройки политической системы дело не дошло, но власть извлекла для себя из тех заседаний немалую пользу: лучше поняла расстановку сил в стране, выставила себя с выгодной, просвещенной, «благородной» стороны перед Европой, наконец, пригляделась к отдельным, наиболее способным депутатам.

Среди них одно из первых мест занимал Михаил Щербатов. Пять лет жителя в отставке еще более расширили его знания, практические (особенно хозяйственные, экономические) навыки. Ярославские дворяне, выбравшие князя своим депутатом, даже побаивались сильно образованного, смелого, независимого аристократа.

В своих выступлениях на комиссии он отнюдь не подрывал устоев самодержавия и убежденно отстаивал крепостное право: тут он дворянин до мозга костей. Но, защищая права помещика, депутат Щербатов упорно, с цифрами в руках, доказывал, что прибыльнее не разорять, но поощрять хозяйственную деятельность крестьян; говоря же о неизбежности самодержавия, он доказывал, что самодержцу выгоднее сильное, достойное, независимое дворянство.

Екатерина II и сама расширяет права благородного сословия (в будущем даст «Жалованную грамоту» дворянству), но не любит, когда ее торопят, когда ее намерения выглядят как бы не ее намерениями...

В Щербатове она рано угадала человека оппозиции: разумеется, оппозиции дворянской, «родственной», но все же – оппозиции. В числе разных мер, с помощью которых царица управлялась с подобными людьми, была и такая: приблизить, взять на службу, повысить. Прием очень неглупый, особенно в тех случаях, когда *осчастливленный* был человеком с нравственными принципами и считал, что обязан тем лучше служить и делать дело, чем более у него расхождений с верховной властью.

Вокруг Екатерины II собрался круг довольно ярких, талантливых деятелей, из которых часть (такие, как Орлов, Потемкин) были ей безусловно преданы, другие же являлись как бы заложниками собственных принципов... Первые – достаточно циничные, безнравственные, склонные к произволу и приобретательству. Вторые – в основном служившие идейно... Екатерина приглашает Щербатова на службу – он соглашается: оттого, что надеется принести общественную пользу и все же питает известные иллюзии насчет просвещенного курса императрицы...

Девять лет Щербатов служит в Петербурге – и быстро выделяется: с 1768 года в Комиссии по коммерции – при дворе оценили его экономические и финансовые знания; в 1771 го-

ду – герольдмейстер: здесь учитывались исторические познания, в частности насчет старинных фамилий, гербов и проч.; с лета 1775 года – ведет «журнал делам по Военному совету», то есть заведует секретным делопроизводством по военным делам; с января 1778 года – тайный советник (очень высокий гражданский «генеральский» чин!). Тогда же он назначается президентом Камер-коллегии – должность, примерно соответствующая будущему *министру финансов* (в собрании щербатовских бумаг, переданных в Эрмитажную библиотеку, а ныне находящихся в Отделе рукописей Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, имеется двадцать девять переплетенных томов экономических дел – налоги, питейные сборы, ревизии и т. п.).

Высокие, министерские должности...

Одновременно, с 1770 года, начинает выходить том за томом его «История российская от древнейших времен», начатая еще в годы отставки (всего будет напечатано восемнадцать книг); князь получает звание историографа, почетного члена Академии наук – ему открыт доступ к бумагам Петра I, в том числе даже к таким секретным, как о царевиче Алексее, об отношениях Петра и Екатерины I, о петровских буйных шутках над церковью – «всепьянейшем и всешутейшем соборе». Разбирать петровские бумаги так трудно, что Щербатов жалуется историку Миллеру: «Вот что мне приходится выносить для того, чтобы собрать историю моей родины; я не знаю, выдержит ли мое здоровье все те труды, которы-

ми я обременен; но я убежден, что изучение истории своей страны необходимо для тех, кто правит, – и те, кто освещают ее, приносят истинную пользу государству. Как бы то ни было, даже если я не буду вознагражден за мои мучения, – надеюсь, что потомство отдаст мне справедливость». Итак, высокое положение, интересное дело!.. Но нечто горькое проскальзывает уже и в только что приведенных строках: Щербатов будто воюет с неким неведомым противником, который оспаривает его труд, его мысли...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.